



 **РУССКІЕ**
писатели

о
пруссачестве



1943



РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ
О ПРУССАЧЕСТВЕ

СБОРНИК
ВЫСКАЗЫВАНИЙ

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1943

ОТ РЕДАКЦИИ

Каким образом Гитлеру и его банде удалось всего за десять лет господства превратить немцев в кроваж­ных разбойников, грабителей и насильников, в лю­дей, потерявших человеческий облик, павших до уровня диких зверей?

Этот вопрос не раз задавало себе прогрессивное чело­вечество.

Не было ли в истории Германии таких особенностей, а у немецкого народа таких отвратительных черт, ко­торые облегчили главарям гитлеровской банды их чёр­ное дело?

Правдивый и суровый ответ на этот вопрос даёт русская литература.

Да, столетия господства реакционного пруссачества наложили позорный и неизгладимый отпечаток на нем­цев. Недаром почти сто лет тому назад Маркс заявил, что вина за все гнусности, учинённые с помощью Гер­мании в других странах, «падает не только на прави­тельство, но в большой мере и на самый германский народ. Не будь его ослепления, его рабского духа, его пригодности и готовности играть роль ландскнех­тов, «благодарных» палачей и послушных орудий господ «божьей милостью», — немецкое имя не было бы так ненавистно, проклинаемо и презираемо за границей, а порабощённые Германией народы давно пришли бы к нормальному состоянию свободного развития».

Раньше чем кто-либо в Европе, передовые русские писатели разглядели и заклеили взлелеянные прус­сачеством омерзительные черты немецкой военщины, бюргеров, мелкой буржуазии.

Иначе, впрочем, не могло и быть. Русская литература всегда была самой чуткой, самой восприимчивой из всех литератур в мире.

Русская литература быстро распознала под внешним обликом европейской культуры солдафонство и ту­пость немцев, их высокомерие и чванливость, наглость и жестокость.

Выросшая в крепостнической обстановке, наша сво­бодолюбивая литература особенно остро подмечала у немцев проявления полицейщины, грубого наси­лия. Литература общечеловеческих идеалов, русская литература с присущей ей пронизательностью подме-

тила давннее стремление немцев утвердить господство прусского сапога над Европой. Наша передовая литература с возмущением разоблачала самомнение, грубость, пошлость, стяжательство, низкопоклонство немцев. Наконец, национальная в самом лучшем смысле этого слова, подлинно народная, русская литература сразу же увидела «высокомерную ненависть немцев ко всему русскому», к нашей стране, к нашему народу.

Вот почему великие русские писатели—Фонвизин и Ломоносов, Герцен и Салтыков-Щедрин, Некрасов и Лев Толстой, Горький и Маяковский—нашли слова, полные благородного негодования и гнева, разящего смеха, для того, чтобы пригвоздить к позорному столбу выкормывшей тевтонских псов-рыцарей, Фридриха II, прадедов, дедов и отцов современных гитлеровских фрицев.

Вот почему эти слова звучат с такою силой сейчас, в наше время, когда омерзительные черты немцев раскрылись во всей своей наготе, когда немецкие солдаты с автоматами и горящими факелами опустошают наши земли, зверски убивают сотни тысяч советских людей.

Русские классики предупреждали европейскую демократию о том, какие страшные и гнусные черты воспитывают немецкие реакционеры в своём народе, какую опасность для мировой цивилизации может представить народ, претендующий на мировое господство, презирующий другие нации, поклоняющийся фельдфебельскому сапогу, подавляющий свободу и демократию. Русские писатели достаточно хорошо изучили быт и нравы немцев как в самой Германии, так и у нас в России, куда немцы приезжали «на ловлю счастья и чинов» и с немецкой педантичностью унижали и оскорбляли наш трудящийся народ.

Высказывания великих русских писателей о реакционном пруссачестве не только показывают нам путь Германии—от Фридриха II до Гитлера. Они учат нас ненавидеть немецко-фашистских захватчиков всеми силами души. Ненавидеть их той священной ненавистью, которая превратила нашу Красную Армию в армию смертельной борьбы с гитлеровскими войсками, в армию мстителей за насилия и унижения, причиняемые немецко-фашистскими извергами нашим братьям и сестрам в оккупированных районах нашей родины.

Сборник выходит под редакцией А. Еголина, А. Мясникова и Н. Рубинштейна.

М. В. ЛОМОНОСОВ

(1711 — 1765)

Парящей слыша шум орлицы,
Где пышный дух твой, Фридерик?
Прогнанный за свои границы,
Ещё ли мнишь, что ты велик?
Ещёль смотря на рок Саксонов,
Всеобщим дателем законов
Сливёшь в желании своём!
Лишённый собственныя власти,
Ещёль стремишься в буйной страсти
Вселенной наложить ярём?..

За Вислой и за Вартой грады
Падения или отрады
От воли Росской власти ждут,
И сердце гордаго Берлина,
Неистоваго исполина,
Перуны, близ гремя, трясут.

«...На победы... над королем Прусским одержанныя»

Европа ныне восхищенна
Внимая смотрит на восток,
И ожидает изумленна,
Какой определить ей рок...

«...На новый 1762 год».

Германия сему подобно
По собственной крови плывет,
Во время смутно, неспособно,
Конца своих не видит бед...

«...На новый 1762 год».

Воюйте счастливо, сравните честь свою
Со предков похвалой, которую пою...
Чтоб гордостью своей наказанной Берлин
Для беспокойства царств не умышлял причин.

«Петр Великий».

И. Т. ПОСОШКОВ

(1670 — 1726)

Надлежит нам себя осмотреть, их немецких рассказов нам не переслушать, они какую безделицу ни привезут, то, надседаясь, хвалят, чтоб мы больше у них купили.

Немцы никогда нас не поучат на то, чтоб мы бережно жили и ничего б напрасно не тратили, только то выхваляют, отчего бы пожиток какой им припал, а не нам. Они не токмо себя, но и прочих свою братию всякими вымыслы богатят, а нас болши к скудости пригоняют.

«Книга о скудости и богатстве».

А. Т. БОЛОТОВ

(1738 — 1833)

Пролитию толь многой крови человеческой был наиболее и едва ли не первую и наиглавнейшею причиною... король прусский Фридрих II...

«Жизнь и приключения Андрея Болотова».

Д. И. ФОНВИЗИН

(1745—1792)

Вообще сказать могу беспристрастно, что от Петербурга до Ниренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно. Здесь во всём генерально хуже нашего: люди, лошади, земля... словом: у нас всё лучше, и мы больше люди, нежели немцы. Это удостоверение вкоренилось в душе моей, кто б что ни изволил говорить...

Письмо к сестре из Ниренберга.

А. С. ПУШКИН

(1799—1837)

Ты пеняешь мне... за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее.

А. С. Пушкин—А. А. Дельвигу

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

(1814—1841)

И чем же немец лучше славянина?
Не тем ли, что куда его судьбина
Ни кинет, он везде себе найдёт
Отчизну и картофель?.. Вот народ:
И без таланта правит и за деньги служит,
Всех давит сам, а бьют его—не тужит!
Вот племя: всякий чорт у них барон!
И уж профессор—каждый их сапожник!
И смело здесь и вслух глаголет он,
Как Пифия, воссев на свой треножник!
Кричит, шумит... Но что ж?—Он не рождён
Под нашим небом; наша степь святая
В его глазах бездушных—степь простая,
Без памятников славных, без следов,

Где б мог прочесть он повесть тех веков,
Которые, с их грозными делами,
Унесены забвения волнами...

«Сашка».

Н. В. ГОГОЛЬ

(1809 — 1852)

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером (жестяных дел мастер.—*Ред.*). Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Ещё с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, которое русский живёт на фуфу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого ни в каком случае не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всём и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение 10 лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить своё слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но однакоже привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тмишной водки, которую однакоже он всегда бранил.

«Невский проспект».

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

(1811 — 1848)

Германия—государство позорное и г... Конечно, во Франции много крикунов и фразёров, но в Германии много гофратов, филистёров, колбасников и других гадов.

В. Г. Белинский—В. П. Боткину.

До тридцати лет немец бывает буршем, и как скоро часовая стрелка станет на последней минуте его тридцати лет, он сейчас же делается филистером. Многие из немцев даже рождаются филистерами.

Немец уживётся где угодно; ему везде хорошо, везде отечество, и при всём этом он везде верен себе, везде тот же угловатый и странный немец...

Сочинения Державина 1843 г.

А. И. ГЕРЦЕН

(1812 — 1870)

Немецкие публицисты выдумали для австрийской империи всемирно-историческое *призвание*: оно, видите, именно состоит в *образовании полудикого юго-востока Европы*. Но какое значение имеет австрийская цивилизация, и что она сделала, кроме того, что ввела ту же полицию и те же наказания во все страны. Ну, если не в политическом, то в торговом, в экономическом отношении?.. Королевско-имперская цивилизация состоит в постоянном гнёте всего народного и в *онемечивании*. Но ни итальянцы, ни мадьяры, ни славяне не хотят вовсе образоваться в немцев. Между ними и немцами лежит та *incompra-*

tibilité d'humeur¹, по которой разводят мужа с женою. Мы знаем, что значит насильно образовывать— это одна из гибельнейших идей, в силу которой бездушной дрессировке и фельдфебельской выправке даётся вид благодеяния. Маленьких детей не гоняют больше в школу розгой.

Замечательная вещь, что вообще германский мир, школьный и учёный по преимуществу, очень плохой образователь подавленных им народов. Стоит взглянуть на эстов и леттов² в остзейских провинциях, чтоб убедиться в этом...

«Война».

...Все чувствуют, знают, что Европа, сшитая *пруссими иголками*³, сшита на живую нитку, что всё завтра расплзётся, что это не в самом деле... Вот куда реакция спасла мир. Мир, стоявший на трёх китах, был прочнее...

Со своей стороны, и Бисмарк не хуже Наполеона оценил своих филистёров; на лавках франкфуртского парламента ему был досуг их раскусить. Он понял, что немцам политическая свобода столько же нужна, сколько реформация им дала религиозной, что и эта свобода им нужна только *der Theologie nach*⁴, что они власти повиноваться привыкли, а к строгой английской самозаконности вовсе не привыкли. И этого было бы довольно; но он больше понял: он понял то, что в настоящую минуту немцы следаемы завистью к Франции, ненавистью к России, что они бредят о том, чтоб быть сильным государством, сплотиться... зачем?.. если б это можно было объяснить, тогда это не было бы помешатель-

¹ Несходство характеров.

² *Lettep*—латыши.

³ Пруссаки в ту войну употребляли игольчатые ружья.

⁴ В теории.

ством. Итальянская *unità*¹ спать не давала немецкому *Einheits*² патосу. Что выйдет из итальянской *unità*, мы не знаем, но необходимость её, для того, чтоб прогнать австрийцев, Бурбонов и папу, очевидна. Немцы не для своего освобождения хотели единства, а с агрессивной целью... Бисмарк всё это понял... Опозоривши, унизивши народное представительство в Берлине до той степени, до которой в истории нашего века не доходило ни одно правительство, он присмотрелся: народ молчит. А... если так...—патриотический вопрос о Шлезвиг-Голштейне вперёд и давай бить датчан. Вся Германия рукоплескала неравному бою. Немецкие выходцы в Лондоне, в Нью-Йорке, Париже праздновали победы *Австрии и Пруссии*. После этого опыта нечего было бояться, нечего церемониться,—маска долой, и Бисмарк из Германии пошёл сколачивать империю пруссаков, употребляя на пыжи ключья изорванной конституции. «Вы хотели сильного государства,—вот вам оно, Франция с нами теперь посчитается... Вы хотели унижения Австрии,—мы вам её забили почти до возрожденья: «*Liebchen, was willst du den mehr?*»³ «Свободы, граф, свободы!»—Ну, уж это извините, да вам её и не нужно. Пользуйтесь вашим величием, молитесь за будущего императора пруссов и не забывайте, что рука, которая раздавила целые королевства, раздавит всякую неблагоприятную попытку с вашей стороны с неумолимой строгостью. *Sie sind entlassen, meine Herrn!*⁴

«Порядок торжествует».

Капральской палкой и мещанским понятием об экономии в Пруссии... вселяется гуманизм. Пруссия

¹ Единение.

² Единение, объединение.

³ Чего же тебе еще надо, милая?

⁴ Можете идти, господа!

бездушна... Германия вообще... ниже всей Европы в развитии гуманности.

Дневник 1843 г.

Не надо, однако, заблуждаться относительно значения этих партий. Немецкая партия не представляла цивилизацию, а русская—невежество... Немцы, с своей стороны, были далеки от изображения собою прогресса; без всякой связи со странюю, которую они не трудились изучать и презирали, как варварскую, высокомерные до наглости, они были самыми раболепными орудиями императорской власти... Они вносили в дела антипатичные русским манеры, бюрократический, формалистский и дисциплинарный педантизм, совершенно противный нашим нравам.

Враждебность славян и германцев—факт печальный, но установленный. Каждая ссора между ними открывала глубину их взаимной ненависти. Немецкое господство много содействовало своим характером распространению этой ненависти у западных славян и поляков. Русским никогда не приходилось терпеть от них угнетения.

«О развитии революционных идей в России».

Немцы могли быть глубоко радикальны в науке, оставаясь консерваторами в своём поведении, поэтами на бумаге и мещанами в жизни.

«О развитии революционных идей в России».

Никогда ещё ни в одной стране не было видно зрелища более низкого, более постыдного, чем поведение германских правителей в 1849 году. Людовик-Наполеон, Пий IX кажутся героями честности, искренности и лояльности рядом с этими презренными Габсбургами и Гогенцоллернами, вместе с их колле-

гами из Саксонии, Вюртемберга, Гессена, Бадена и др. Зрелища этих предательств, клятвопреступлений, жестокостей, одновременно кровожадных и мелочных, *которые в Венгрии вызвали негодование Паскевича*, привели в ярость последних свободных людей Германии, не склонившихся перед реакцией; это было больше, чем негодование: сердце наполнялось непреодолимой жаждой отмщения и возмездия.

«*Михаил Бакунин*».

Любопытно видеть притязания Германии... на всемирно-историческое первенство. Их исключительный национализм, окружённый космополитическими фразами, их ревнивая ненависть старой женщины к России и злопамятная зависть к Франции.

«*Западные книги*».

Страшное противоречие в характере немцев; все они на словах, в теории космополиты и в то же время... исполнены самым раздражительным, самым исключительным и худо скрывающим свои притязания патриотизмом. Они готовы принять всемирную республику, стереть границы межгосударственные, но чтоб Триест и Данциг принадлежали Германии.

Пост-скриптум к статье о новых книгах.

Или Вы не знаете высокомерную ненависть немцев ко всему русскому, их отвращение к нам, которое они едва могут скрывать...

Письмо к императрице Марии Александровне.

Как Австрия специально образовывала, мы знаем по Богемии. Она употребила два столетия на систематическое забивание всего независимого и национального в этом народе; она совершала там злодеяния... казни, конфискации, гонения продолжались

поколения под руководством иезуитов и бюрократов, в распоряжении которых состояла развратная, паённая скотски-свирепая солдатеска, хранившая в памяти предания валленштейновских времён и тридцатилетнего разбоя. Вешали, секли, морили в тюрьме, жгли людей, жгли книги, грабили, выселяли и дошли до того, что аристократическая помесь и часть мещан сделались немцами, а народ остался чешским; и в первую минуту, как потерявшийся палач приподнял свою руку и дал жертве немного вздохнуть, в начале нашего века, явилась целая чешская литература.

«Война».

Я вам серьёзно советую ненавидеть всех немцев.

Письмо к М. К. Рейхель от 29/VI 1859 г.

Слышите ли вы, как режут свирепые немцы в полях? Они приближаются...

«Русские немцы и немецкие русские».

Мы всегда были убеждены, что в Остзейских губерниях все уродливые стороны германизма, от юнкертума до теологии, от мещанского филистёрства до мещанской буршикозности, не только хранятся, но доведены до карикатуры...

«Лифляндские Афины».

Немцы, само собой разумеется, рады-радехоньки вас покрыть кровью, а поляков землей.

«Отеческий совет».

Одна из причин дурного тона немцев происходит оттого, что в Германии вовсе не существует воспитания в нашем смысле слова.. Даже в аристократии... преобладают казарменные, юнкерские нравы.

У них в житейских делах отсутствует эстетический орган.

«Былое и думы».

У немцев, а ещё более у немок бездна ложных страстей, т. е. страстей выдуманных, призрачных, натянутых, литературных. Это какая-то *Überspanntheit*¹... книжная восторженность, мнимая холодная экзальтация, всегда готовая без меры удивляться или умиляться без достаточной причины.

«Былое и думы».

Немецкая эмиграция отличалась от других своим тяжёлым, скучным и сварливым характером. В ней не было энтузиастов... не было ни горячих голов, ни горячих языков... Другие эмиграции мало сближались с нею... Общего плана у немцев не было; единство их поддерживалось взаимной ненавистью и злым преследованием друг друга... Раздирали друг друга на части с неутолимимым остервенением, не щадя ни семейных тайн, ни самых уголовных обвинений.

«Былое и думы».

Истина этим людям (немцам.—*Ред.*) равнодушна. Россию они ненавидят... вообще всё русское и всех русских.

«Ультиматум».

Как только немцы убедились, что французский берег понизился, что страшные революционные идеи её поветшали, что бояться её нечего,—из-за крепостных стен прирейнских показалась прусская каска.

Франция всё пятилась, каска всё выдвигалась. Своих Бисмарк никогда не уважал, он наострил оба уха

¹ Манья преувеличения.

в сторону Франции, он нюхал воздух оттуда, и, убедившись в прочном понижении страны, он понял, что время Пруссии настало. Понявши, он заказал план Мольтке¹, заказал иголки оружейникам и систематически, с немецкой бесцеремонной грубостью забрал спелые немецкие груши и ссыпал смешному Фридриху-Вильгельму² в фартук, уверив его, что он герой по особенному чуду лютеранского бога.

Я не верю, чтоб судьбы мира оставались надолго в руках немцев и Гогенцоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, противно исторической эстетике. Я скажу, как Кент Лиру³, только обратно: «В тебе, Пруссия, нет ничего, что бы я мог назвать царём». Но, всё же, Пруссия отодвинула Францию на второй план и сама села на первое место. Но всё же, окрасив в один цвет пёстрые лоскутья немецкого отечества, она будет предписывать законы Европе до тех пор, пока законы её будут предписывать штыком и исполнять картечью по самой простой причине: потому что у неё больше штыков и больше картечи.

За прусской волной подымется уже другая, не очень заботясь, нравится это или нет классическим старикам...

«Былое и думы».

Судьбы Германии жалки и пошлы в XVIII веке. Её аристократы всё-таки мещане... нет грации, нет благородства... Безнравственность в Германии доходила до высшего предела, ни малейшей тени чело-

¹ Имеется в виду Мольтке-старший (1800—1891)— прусский фельдмаршал, руководитель вооружённых сил Пруссии во время войн с Австрией (1866) и Францией (1870—1871).

² Король Пруссии.

³ Кент и Лир — герои известной трагедии Шекспира «Король Лир».

веческого достоинства. Крепости набиты арестантами, гонения за религию, гонения за стихи, гонения за дерзкое слово о министре,— всё это тихо, без шума,— и народ ничего... В Германии нет ни одного луча света, там один либерал Фридрих II, самодержец Пруссии.

«Былое и думы».

Но с чего они воображают, что Англия и Америка органическое продолжение Германии? Неужели Байрон похож на немца?

«Западные книги».

Всё то, что ставится так дорого другим народам, России не было зачтено ни во что, или, хуже, послужило ей же в обвинение: ни то, что она уцелела под татарским игом, ни то, что втихомолку выросла и сложилась в огромное государство, отбившееся от всех соседей и сохранившее свою самостоятельность; ни её 1612, ни её 1812 год. О пожаре Москвы говорят только потому, что слишком много иноплеменников видели зарево. Избавила ли Россия Европу от грубого солдатского гнёта или заменила его другим,— об этом может быть вопрос; но что Россия спасла Германию от французского ига, в этом нет никакого вопроса. Разверните Штейна, Арндта и других современников, и посмотрите, как, в чёрную годину для Германии, лучшие люди её глядели на Александра I и на Россию. Что же вышло из этого? Полнейшая ненависть не к русскому правительству... не к русскому вмешательству, а к русскому народу, ко всякому нашему успеху, ко всякому нашему челдвеческому порыву. Так и узнаёшь в современных публицистах Германии измещанившихся братьев ливонских рыцарей, не пропускавших в XVI столетии докторов в Россию. Не странно ли всё это?

«Россия и Польша».

Вне России нет будущности для славянского мира, без России он не разовьётся, он расплывается и будет поглощён германским элементом, он делается австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнению, его судьба, его значение...

«Русский народ и социализм».

И. С. ТУРГЕНЕВ

(1818 — 1883)

Не успела Анна Васильевна послать свой прощальный привет Царицыну, как вдруг в нескольких шагах от неё, за высоким кустом сирени, раздались нестройные восклицания, хохотня и крики— и целая гурьба растрёпанных мужчин, тех самых любителей пения, которые так усердно хлопали Зое, высыпали на дорожку. Господа любители казались сильно навеселе. Они остановились при виде дам; но один из них, огромного роста, с бычачьей шеей и бычачьими воспалёнными глазами, отделился от своих товарищей и, неловко расклаиваясь и покачиваясь на ходу, приблизился к окаменевшей от испуга Анне Васильевне.

— Бонжур, мадам,—проговорил он сиплым голосом.—Как ваше здоровье?

Анна Васильевна пошатнулась назад.

— А отчего вы,—продолжал великан дурным русским языком:—не хотел петь bis, когда наш конпани кричал bis, и браво, и форо?

— Да, да, отчего?—раздалось в рядах «компани».

Инсаров шагнул было вперёд, но Шубин остановил его и сам заслбил Анну Васильевну.

— Позвольте,—начал он:—почтенный незнакомец,

выразить вам то неподдельное изумление, в которое вы повергаете всех нас своими поступками. Вы, сколько я могу судить, принадлежите к саксонской отрасли кавказского племени, следовательно, мы должны предполагать в вас знание светских приличий, а между тем вы заговариваете с дамой, которой вы не были представлены. Поверьте, в другое время я, в особенности, был бы очень рад сблизиться с вами, ибо замечая в вас такое феноменальное развитие мускулов: *biceps*, *triceps* и *deltoidaeus*, что, как ваятель, ячёл бы за истинное счастье иметь вас своим натурщиком; но на сей раз оставьте нас в покое.

«Почтенный незнакомец» выслушал всю речь Шубина, презрительно скрутив голову на сторону и уперши руки в бока.

— Я ничего не понимаю, что вы говорите такое,— промолвил он наконец.— Вы думает, может быть, я сапожник или часовых дел мастер! Э! Я офицер, я чиновник, да.

— Я не сомневаюсь в этом,— начал было Шубин...

— А я вот что говорю,— продолжал незнакомец, отстраняя его своею мощною рукой, как ветку с дороги:— я говорю: отчего вы не пел *bis*, когда мы кричал *bis*? А теперь я сейчас, сею минутой уйду, только вот нушна, штоп эта фрейлейн, не эта мадам, нет, эта не нушна, а вот эта, или эта (он указал на Елену и Зою), дала мне *einen Kuss*¹, как мы говорим по-немецки, поцалуйшик, да; что ж—это ничего.

— Ничего, *einen Kuss* это ничего,— раздалось опять в рядах компании.

— *Ah! der Sakrament!*²—проговорил, давясь от смеху, один уже совершенно чирый немец.

Зоя ухватилась за руку Инсарова, но он вырвался

¹ Поцелуй.

² Ах, проклятый!

у неё и стал прямо перед великорослым нахалом.
— Извольте итти прочь,—сказал он ему не громким, но резким голосом.

Немец тяжело захохотал.

— Как прочь? Вот это и я люблю! Разве я тоже не могу гуляйт? Как это прочь? Отчего прочь?

— Оттого, что вы осмелились беспокоить даму,—проговорил Инсаров и вдруг побледнел:—оттого, что вы пьяны.

— Как! Я пьян? Слышать? Hören sie das, Herr Provisor? ¹ Я офицер, а он исмеет... Теперь я требую Satisfaction! Einen Kus will ich! ²

— Если вы сделаете ещё шаг,—начал Инсаров...

— Ну? и что́ тогда?

— Я вас брошу в воду.

— В воду? Herr Jel! ³ И только? Ну, посмотрим, это очень любопытно, как это в воду...

Господин *офицер* поднял руки и подался вперёд, но вдруг произошло нечто необыкновенное: он крикнул, всё огромное туловище его покачнулось, поднялось от земли, ноги брыкнули на воздухе, и, прежде чем дамы успели вскрикнуть, прежде чем кто-нибудь мог понять, каким образом это сделалось, господин *офицер*, всей своей массой, с тяжким плеском бухнулся в пруд и тотчас же исчез под залюбившейся водой.

— Ай!—дружно взвизгнули дамы.

— Mein Gott! ⁴—послышалось с другой стороны.

Прошла минута—и круглая голова, вся облепленная мокрыми волосами, показалась над водой; она пускала пузыри, эта голова; две руки судорожно барахтались у самых её губ...

¹ Вы слышите, господин провизор?

² Удовлетворение за оскорбление. Я хочу поцелуя!

³ Господи Исусе!

⁴ Боже мой!

— Он утонет, спасите его, спасите!—закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.

— Выплывет,—проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью.—Пойдёмте,—прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку:—пойдёмте, Увар Иванович, Елена Николаевна.

— А... а... о... о...—раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.

Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но лишившись своего главы, гуляки присмирели—и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Ну, это однако... это бог знает, что... после этого»; а другой даже шляпу снял.

Инсаров казался им очень грозным, и не даром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твёрдой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству, графу фон Кизериц пойдёт...

Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и, как можно скорее, спешили к замку. Все молчали, пока шли по саду, только Анна Васильевна слегка охала. Но вот они приблизились к экипажам, остановились, и неудержимый, несмолкаемый смех поднялся у них, как у небожителей Гомера. Первый, визгливо, как безумный, залился Шубин, за ним горохом забарабанил Берснев, там Зоя рассыпалась тонким бисером, Анна Васильевна тоже вдруг так и покатилась, даже Елена не могла не улыбнуться, даже Инсаров не устоял наконец. Но громче всех, и дольше всех, и неистовее всех

хохотал Увар Иванович: он хохотая до коло́тья в боку, до чихоты, до удушья. Притихнет немного, да проговорит сквозь слезы: «я... думаю... что это хлопнуло?... а это... он... плашмя...» И вместе с последним судорожно выданным словом, новый взрыв хохота потрясал весь его состав. Зоя его ещё больше подзадоривала. «Я, говорит, вижу, ноги по воздуху»...—Да, да,—подхватил Увар Иванович:—ноги, ноги... а там хлоп! а это он п-п-плашмя!—«Да и как «они» это ухитрились. Ведь немец то втрое больше их был?»—спросила Зоя.—А я вам доложу,—ответил, утирая глаза, Увар Иванович:—Я видел: одною рукой за поясницу, ногу подставил, да... как хлоп... Я слышу: что это?... а это он, плашмя...

«Накануне».

Наступил момент обеда—и всё общество уселось за стол.

Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клёцками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свёклой и жеваным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise»—нечто в роде шудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом попотчивал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, самый обед прошёл благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось, оно не появилось даже тогда, когда г. Клубер провозгласил тост за «то, что мы любим!» (Was wir lieben!) Уж очень всё было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клубер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигарку... Но тут, вдруг, случилось нечто непредвиденное, и уж точно неприятное—и даже неприличное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнцкого гарнизона. По их взглядам и перешёптываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их: один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на неё, как на фигуру, ему хорошо знакомую; он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и, со стаканом в руке,— гг. офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была устанювлена бутылками,— приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой, белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щёки подергивало, воспалённые глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была—что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба с самим собою, произнёс: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул» стакан)—и в возмездие беру этот цветок, сорванный её божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос—и её глаза, прямо устремлённые на оскорбителя в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнём неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд: он пробормотал что-то невнятное, поклонился—и пошёл назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканием.

Г. Клубер внезапно поднялся со стула и, вытянув-

пись во весь свой рост и надел шляпу, с достоинством, но не слишком громко произнёс: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte Frechheit!) и тотчас же, строгим голосом подозвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчёта... мало того: приказал заложить карету, причём прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах, Джемма, которая продолжала сидеть на своём месте, не шевелясь,—её грудь резко и высоко поднималась,—Джемма перевела глаза на г. Клубера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.

— Встаньте, мейн фрейлейн,—промолвил всё с той же строгостью г-н Клубер:—здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча: он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою—и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась всё величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплёлся вслед за ними.

Но пока г. Клубер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошёл к столу, за которым сидели офицеры, и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновение давал своим товарищам поочерёдно нюхать её розу),—произнёс отчётливо, по-французски:—«То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите,—и я пришёл вам сказать, что вы дурно-воспитанный изхал!» Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину,

спросил его, тоже по-французски: «Что, он родственник, брат или жених той девицы?»

— Я ей совсем чужой человек,—воскликнул. Санин:—я русский,—но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: г. офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» (Dönhof, sei still!) Потом сам приподнялся и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном и поспешно вернулся к своим приятелям.

«Вешние воды».

Ф. И. ТЮТЧЕВ

(1803 — 1873)

Man muss die Slaven an die
Mauer drücken¹.

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмём!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своём!..

Да, стенка есть,—стена большая,
И вас нетрудно к ней прижать,
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.

¹ Славян нужно прижать к стене (нем.).

Ужасно та стена упруга
Хоть и гранитная скала,
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

Её не раз и штурмовали,
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой;
Она не то, чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней живой.

Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К её бойницам и затворам,—
Посмотрим, что они возьмут!

Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози нам буйство их,—
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнёт она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

«Славянам»

Принцип, выражаемый Германской Империей, есть принцип древнего Рима, но тем более ужасный на практике, что материалом для нового языческого Рима призвано послужить общество, просвещённое христианством. Это возведение сызнова в апофеоз голого, бездушного и потому безнравственного государственного начала, это узаконение и освящение

насилия, этот милитаризм, как венец современного гражданского развития,— всё это уже начинает оказывать своё вредное влияние и на государства, лежащие за пределами Германии...

Но, конечно, этот принцип Германской Империи может пользоваться только временным, хотя бы более или менее долгим успехом.

И. С. Аксаков, «Ф. Тютчев».

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

(1820—1898)

Венчая славою безнравственный успех,
Инстинктам дикаря послушен,
Теперь ты, как палач, стоишь в виду у всех
И к воплям жертвы равнодушен.
И тот лишь у тебя великий патриот,
Кто из презрительного чувства
К другим народам,—говорит,
Что сам господь тебе велит,
Восток и Запад онемечить.

«Венчая славою...»

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(1828—1889)

...Нельзя составить такую характеристику наружных особенностей, под которую подходило бы большинство людей этой нации и которая с тем вместе оставалась бы относящейся собственно к этой нации, как её отличие от других наций, а не была бы характеристикой группы людей гораздо более обширной, чем эта нация. Правда есть характеристики физического типа каждой из великих западно-европейских

наций, уж давно находящиеся в общем употреблении; но каждая из них составлена произволом фантазии, главный ингредиент их—смесь самохвальства нации с злоречием других наций, бывших враждебными или завидовавшими ей; к этому курьёзному сочетанию клеветы с самохвальством присоединены учёные недосмотры и недоразумения. Для примера возьмём общеупотребительные характеристики национального немецкого типа и национального английского; в них обеих самой важной, самой существенной особенностью наружности выставляется светлый цвет волос: немец, это человек с русыми волосами; немцы с тёмными волосами—люди не национального немецкого типа; они составляют лишь меньшинство немецкой нации... А на самом деле, у большинства немцев—тёмные волосы, и у большинства англичан—тоже тёмные, не только на голове, но и в бакенбардах, усах и в бороде... Но немцы не оставались в долгу: французы и итальянцы люди легкомысленные, непостоянные, вероломные; это потому, что темперамент у них холерический; а у людей с холерическим темпераментом, вообще, чёрные волосы; мы, немцы, не таковы; мы люди рассудительные, даём обещание обдумав, с твёрдым решением соблюдать его... и темперамент у нас не такой, как у легкомысленных вероломных французов и итальянцев, он у нас спокойный и вместе энергический, и волосы у нас не такие: у них—чёрные, а у нас светлые... Общеупотребительные характеристики физического типа испанской, итальянской, французской, английской и немецкой наций не пригодны ни к чему кроме брани и самохвальства, и применение этого житейского вздора к истории даёт в результате исторический вздор...

Рабовладельцы были люди белой расы, невольники—негры, потому защита рабства в учёных трак-

татах приняла форму теории о коренном различии между разными расами людей...

Но они—любители насилия, хогь и умеют говорить языком цивилизованного общества, остаются в душе людьми варварских времён.

*Предисловие к русскому переводу
«Всеобщей истории» Вебера.*

Д. И. ПИСАРЕВ

(1840 — 1868)

Замечательно, что во время своего пребывания в Берлине русские войска вели себя с редкою умеренностью, не производили никаких беспорядков, не грабили и щадили жизнь и собственность частных лиц. Но явились австрийцы, и всё переменялось. Берлин, Потсдам, Шарлотенбург испытали все ужасы войны: их обложили тяжёлой контрибуцией, частные дома были ограблены, королевские замки разорены и обезображены, произошли убийства и возмутительные жестокости.

«Семилетняя война». Из записок А. Т. Болотова.

Гейне, один из величайших поэтов всех веков и народов, ближайший к нам по времени, по складу мысли и по образам, жил и умер вдаль от своих соотечественников, т. е. от людей, говоривших с ним на одном языке. Благодетельные немцы приходили в ужас от его беспощадного смеха и не понимали его едкой грусти; всё в направлении его таланта, всё в личных особенностях его пафоса и юмора приводило их в краску, в негодование или в ужас; когда поэт говорил им о наслаждении, о полной чаше жизни, о связи человека с природой,—они скромно опускали глазки и находили его безнравственным; когда он разбивал своим сарказмом устарелые идеи, бессмысленные

формы, тяжёлые оковы разума,—тогда против него поднимался сонм профессоров и протестантских пие-тистов, и своим маленьким аршинчиком эти люди принимались мерить идеи гения; гений, конечно, далеко превышал их масштаб, а они называли его уро-дом. Когда, наконец, поэт становился трибуном века, оратором за право человеческой личности,—ему зажи-мали рот, как вредному, безмозглому крикуну.

«Берлин. Осенняя сказка, Генриха Гейне».

Личность Гейне, его мирозерцание, его капризная и шаловливая муза знакомы и милы всем истинно развитым людям нашего времени... Нам дорог Гейне весь, как он есть; мы интересуемся его человеческими чувствами, слабостями и страданиями, мы видим в нём мученика нашего века, не признанного своими сооте-чественниками, принуждённого бежать из родного края от умственной робости и рутинных понятий филистёров,—разбитого болезнью и медленно умираю-щего вдали от друзей, в чужом городе, среди нера-достных впечатлений...

...От души ненавидя физическое рабство со всеми его ужасными последствиями, Гейне точно так же не-навидел умственное рабство...

...В издании Штейимана есть несколько стихотворе-ний Гейне, обращённых к Германии; здесь, как и везде, Гейне относится к политической и умственной деятельности Германии с самой едкой иронией... В области умственной деятельности Германии Гейне осмеивает академическую рутину, бесплодную эруди-цию, мертвенность мысли, скрывающуюся под обил-ьем выписок, ссылок и цитат...

...Все эти качества, составляющие неотъемлемую принадлежность официальных представителей герман-ской жизни и науки, жестоко осмеяны как в преж-них стихотворениях Гейне, так и в тех произведениях,

которые теперь собраны и изданы Штейнманом... Гейне, как чрезвычайно умный и крайне раздражительный человек, не мог ужиться среди той атмосферы тупоумия, скучной серьёзности, бездарности и узкого тщеславия, которая душила его в Германии; его ненавидели и боялись все эти дюжинные писаки, и это, конечно, делает ему большую честь...

...Вот такие-то люди такими-то проделками выгнали Гейне из Германии; замолчать перед этими людьми и ответить презрением на их грязные и корыстные обвинения значило бы исполнить их величайшее желание. Им только и нужно было, чтобы их оставили в покое, чтобы никто не обличал их ограниченности и не смущал их доверчивых, юных слушателей и читателей, но Гейне, как честный деятель, не положил оружия, он продолжал тревожить их своими сарказмами, долетавшими до их слуха с берегов Сены, большой, разбитый параличом, изнурённый борьбой жизни, поэт не умолкал и постоянно бросал им в глаза свою возрастающую популярность и их бессильную злобу.

«Посмертные стихотворения Гейне».

Боевая храбрость Гейне достаточно известна. Его сарказмы, направленные против традиционных доктрин, против политического шарлатанства, против национальных предрассудков, против учёного педантизма, против всех бесчисленных проявлений общеевропейской и специально немецкой глупости, его сарказмы составляют, без сомнения, самую яркую и единственную бессмертную сторону его поэзии. Не будь у него этих сарказмов, он замешался бы в толпу немецких поэтов, писавших гладкие стихи, и мы знали бы о нём столько же, сколько знаем, например, о каком-нибудь Людвиге Уланде, или Леопольде Шефере, или Эммануэле Гейбеле.

...Великое несчастье титана Гейне состоит вовсе

не в том, что какой-нибудь Меттерних или какой-нибудь союзный сейм мешали ему откровенно объясняться с немецкой публикой. Это несчастье состоит даже и не в том, что сама немецкая публика отличалась поразительным тупоумием и во всякую данную минуту была готова и способна облизать ноги своим злейшим врагам, разорвать на части своих лучших и бескорыстнейших друзей и подарить миру из своих собственных недр тысячу новых Меттернихов и тысячи новых союзных сеймов... Настоящее, роковое несчастье, гораздо более неотразимое, чем Меттерних и филистёрство, состояло в том, что сама соль земли находилась в недоумении и не знала наверняка, что и как солить. Лучшие люди, самые умные, самые честные и самые страстные, искали вокруг себя и внутри себя твёрдую точку опоры и не могли её найти...

...Гёте, конечно, очень умён, очень объективен, очень пластичен, и так далее; всё это при нём и остаётся на вечные времена. Но своему отечеству Гёте сделал чрезвычайно много зла. Он вместе с Шиллером украсил, тоже на вечные времена, свиную голову немецкого филистёрства лавровыми листьями бессмертной поэзии... Он (немецкий филистёр.—*Ред.*) читает своих великих поэтов и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остаётся безнадежным пошляком, и твёрдо уверен при этом, что он человек, и что ничто человеческое ему не чуждо.

«Генрих Гейне».

Германия—классическая страна «здорового растительного сна», настоящая родина чистейшего филистёрства, совершенно недоступного в своей полной чистоте для всех остальных частей нашей планеты.

«Реалисты».

Н. А. НЕКРАСОВ

(1821—1877)

...Провёл он свой недолгий век
В труде ученья, но душою,
Как мы, был русский человек.
Он не жалел, что мы не немцы,
Он говорил: «во многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!

Лишь бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней—
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней...

«Несчастные».

...Некто, слывший на службе за гения,
Генерал Фердинанд фон-дер-Шпехт
(Об отводе лесов для сечения
Подававший обширный проект),
Нам предсказывал бунты народные
(«Что, не прав я?» потом он кричал).
—Всё они! все мальчишки негодные!—
Негодующий хор повторял.

Та вражда к молодым поколениям
Здесь начальные корни взяла,
Что впоследствии диким явленьем
В нашу жизнь так глубоко вошла.

«Недавнее время».

И точно: небывалое
Наследник средство выдумал:
К нам немца подослал,
Через леса дремучие,
Через болота топкие
Пешком пришёл, шельмец!

Один, как перст: фуражечка
Да тросточка, а в тросточке
Для уженья снаряд.
И был сначала тихонькой:
«Платите, сколько можете»,
— Не можем ничего!
«Я барина уведомяю»,—
— Уведомь!.. Тем и кончилось.
Стал жить да поживать;
Питался больше рыбою,
Сидит на речке с удочкой
Да сам себя то по носу,
То по лбу—бац да бац!
Смеялись мы: «Не любишь ты
Корёжского комарика...
Не любишь, немчура?..»
Катается по бережку,
Гогочет диким голосом,
Как в бане на полке...

С ребятами, с девочками
Сдружился, бродит по лесу..
Недаром он бродил!
«Коли платить не можете,
Работайте!»—А в чём твоя
Работа? «Окопать
Канавами желательно
Болото...» Окопали мы..
«Теперь рубите лес...»
— Ну, хорошо! Рубили мы,
А немчура показывал,
Где надобно рубить.
Глядим: выходит просека!
Как просеку прочистили,
К болоту поперечины
Велел по ней возить,
Ну, словом: спохватились мы,

Как уж дорогу сделали,
Что немец нас поймал!

Поехал в город парочкой!
Глядим, везёт из города
Коробки, тюфяки,
Откудова ни взялися
У немца босоногого
Детишки и жена.
Повёл хлеб-соль с исправником
И с прочей земской властью,
Гостишек полон двор!

И тут настала каторга
Корёжскому крестьянину—
До нитки разорил!
А драл... как сам Шалашников!
Да тот был прост: накинется
Со всей воинской силою,
Подумаешь: убьет!
А деньги сунь, отвалится,
Ни дать, ни взять раздувшийся
В собачьем ухе клещ.
У немца—хватка мертвая:
Пока не пустит по миру,
Не отойдя, сосёт!

— Как вы терпели, дедушка?

— А потому терпели мы,

Что мы—богатыри.

В том богатырство русское.

Ты думаешь, Матрёнушка,

Мужик—не богатырь?

И жизнь его не ратная,

И смерть ему не писана

В бою—а богатырь!..

— А что же немец, дедушка?

— А немец, как ни властвовал,

Да наши топоры
Лежали—до поры!

Осьмнадцать лет терпели мы.
Застроил немец фабрику,
Велел колодец рыть.
Вдевтером копали мы,
До полдня проработали,
Позавтракать хотим.
Приходит немец: «Только-то?..»
И начал нас по-своему,
Не торопясь, пилить.
Стояли мы голодные,
А немец нас поругивал,
Да в яму землю мокрую
Пошвыривал ногой.
Была уж яма добрая...
Случилось, я легонечко
Толкнул его плечом,
Потом другой толкнул его,
И третий... Мы посгрудились...
До ямы два шага...
Мы слова не промолвили,
Друг другу не глядели мы
В глаза... а всей гурьбой
Христьяна Христьяныча
Поталкивали бережно
Всё к яме... всё на край...
И немец в яму бухнулся,
Кричит: веревку! лестницу!
Мы девятыю лопатами
Ответили ему.
«Наддай!» я слово выронил,—
Под слово люди русские
Работают дружей.
Наддай! наддай!» Так наддали,

Что ямы словно не было—
Сравнялася с землёй!

«Кому на Руси жить хорошо».

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

(1826—1889)

Мальчик в штанах. Знаете ли, русский мальчик, что я думаю? Остались бы вы у нас совсем! Господин Гехт охотно бы вас в кнехты принял. Вы подумайте только: вы как у себя спите? что кушаете? А тут вам сейчас войлок хороший для спанья дадут, а пища—даже в будни горох с свиным салом!

Мальчик без штанов. Пища хорошая... А правда ли, немец, что ты за грош чорту душу продал?

Мальчик в штанах. Вы, вероятно, про господина Гехта говорите? Так ведь родители мои получают от него определённое жалованье...

Мальчик без штанов. Ну да, это самое я и говорю: за грош чорту душу продал!

Мальчик в штанах. Позвольте, однакож! Про вас хуже говорят: будто вы совсем задаром душу отдали?

Мальчик без штанов. Ты про Колупаева, что ли, говоришь? Ну, это, брат... об этом мы ещё поговорим... Надоел он нам, гос-по-дин Ко-лу-па-ев!

Мальчик в штанах (резонно). Надоел или не надоел—это ваше дело; но заметьте, что всегда так бывает, когда в взаимных отношениях людей не существует самой строгой определенности. Между родителями моими и г. Гехтом никогда не случилось недоразумений, а почему? Потому что в контракте, ими заключённом, сказано ясно: господин Гехт даёт грош, а родители мои—душу. Вот и всё. Тогда как вы, русские, всё на какую-то «на водку» надеетесь. И потом, когда вместо «на водки» вас награждают

ударами, вы ворчите, что вам... надоело! Скверно-словие—надоело, господин Колупаев—надоел... Ну, надоело—что же из этого?

Мальчик без штанов. Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!

Мальчик в штанах. Никогда у вас ни улицы, ни праздника не будет. Убеждаю вас, останьтесь у нас! Право, через месяц вы сами будете удивляться, как вы могли так жить, как до сих пор жили!

Мальчик без штанов (с некоторым раздражением). Врёшь ты! Ишь, ведь, с гороховицей на свином сале подъехал... диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно... Верное слово тебе говорю!

Мальчик в штанах. Что же тут занятного... «Шаром покати»?

Мальчик без штанов. Это-то и занятно. Ты ждёшь, что хлеб будет—ан вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра—саранча, а потом—выкупные подавай! Сказывай, немец, как бы тут выпутался?

Мальчик в штанах (хочет что-нибудь выдумать, но долгое время не может; наконец выдумывает). Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!

Мальчик без штанов. Натко, выкуси!

Мальчик в штанах. Опять это слово! Русский мальчик! Я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто всё это вам не в диковину¹. У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет,—а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне:

¹ Прошу читателя помнить, что все это происходит в сновидении, и не удивляться, что немецкий мальчик выражается не вполне свойственным его возрасту языком.

«выкуси!» Берегитесь, русский мальчик! Это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается!

Мальчик без штанов. Нет, это не от высокоумия, а надоели вы нам, немцы,—вот что! Взяли в полон да и держите!

Мальчик в штанах. Но плен, в котором держит вас господин Колупаев, по мнению моему, гораздо...

Мальчик без штанов. Что Колупаев! С Колупаевым мы сочтёмся... это верно! Давай-ка лучше об немцах говорить. Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения¹, да вот что худо: к нам-то вы приходите совсем не с этим, а только чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека?—немец! кто самый безжалостный педагог?—немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумолимым и всегда готовым орудием?—немец! И заметь, что, сравнительно, ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство—тоже, а ваши учреждения—и подавно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтоб науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убеждён, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждёт, кроме подвоха. Вон вы, сказывают, Берлин на славу отстроили, а никому на него глядеть не хочется. Даже свои «объединённые немцы»—и

¹ Со стороны русского мальчика этот способ выразиться еще неестественнее, но, опять повторяю, в сновидении нет ничего невозможного.

тех тошнит от вас, «объединителей». Есть же какая-нибудь этому причина!

Мальчик в штанах. Разумеется, от необразованности. Необразованный человек— всё равно, что низший организм, так чего же ждать от низших организмов!

Мальчик без штанов. Вот видишь, колбаса! тебя ещё от земли не видать, а как уж ты поговариваешь!

Мальчик в штанах. «Колбаса»! «выкуси»!—какие несносные выражения! А вы, русские, ещё хвалитесь богатством вашего языка! Целый час я говорю с вами, русский мальчик, и ничего не слышу, кроме загадочных слов, которых ни на один язык нельзя перевести. Между тем дело совершенно ясное. Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идёте исполинскими шагами вперёд, а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают— и что же оказывается? Что вы беднее нежели когда-нибудь, что сквернословие более нежели когда-либо регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах!

Мальчик без штанов. Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное!

Мальчик в штанах. Решительно ничего не понимаю!

Мальчик без штанов. Где тебе понять! Сказывал уж я тебе, что ты за грош чорту душу продал,— вот он теперь тебе и застит свет!

Мальчик в штанах. «Сказывал»! Но ведь и я вам говорил, что вы тому же чорту задаром душу отдали... кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчик без штанов. Так то задаром, а не за грош. Задаром-то я отдал—стало быть, и опять могу назад взять. Ах, колбаса, колбаса!

«За рубежом».

За одним из бесчисленных табльдотов Германии мне случилось однажды обедать в большой компании русских... Я сидел с краю компании, а рядом со мною помещался неизвестный юноша, до такой степени беловолосый, что я заподозрел: непременно это должен быть «скиталец» из котельнического уездного училища, который каким-то чудом попал в Германию. Разумеется, это было с моей стороны только беллетристическое предположение, которое тотчас же и рассеялось, потому что юноша говорил на чистейшем немецком диалекте и, очевидно, принадлежал к коренной немецкой семье, которая с нами же и обедала. Но тут-то именно и случилось действительное чудо. Между тем как в среде русских шла оживлённая беседа на тему: для чего собственно нужен Берлин (многие предлагали такое решение: «для человекоубивства»), мне привелось передать моему беловолосому соседу какое-то кушанье. И вдруг, в ответ на мою любезность, я услышал от него по-русски:

— Благодарю вас!

Это было до того неожиданно, что я чуть не в ужасе воскликнул:

— Однако, брат, ты... угораздило-таки вас, mein Herr!

На что юноша, нимало не смущаясь, скромно ответил:

— Я солдат: мы уф Берлин немного учим по-русску... на всяк случай!

Так вот оно как. Мы, русские, с самого Петра I-го усердно «учим по-немецку»—и всё никакого случая поймать не можем, а в Берлине уж и теперь «случай» предвидят, и, конечно, не для того, чтоб читать порнографическую литературу г. Цитовича, учат солдат «по-русску». Разумеется, я не преминул сообщить об этом моим товарищам по скитаниям, которые нашли, что факт этот служит новым подтверждением только

что сформулированного решения: да, Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства.

Берлин, как столица Прусского королевства, был для всех понятен. Он скромно стоял во главе скромного государства и, находясь почти в центре его, был очень удобен в качестве административного распорядителя. Несколько скучный, как бы страдающий головной болью, он привлекал очень немного иностранцев, и ежели, тем не менее, из всех сил бился походить на прочие столицы, с точки зрения монументов и дворцов, то делал это pro domo¹, чтоб верные подданные прусской короны имели повод гордиться, что и их короли не отказывают себе в монументах. Милитаристские поползновения существовали в Берлине и тогда, но они казались столь безобидными, что никому не внушали ни подозрений, ни опасений, хотя под сению этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке. Неоднократно Прусское королевство находилось под угрозой распада, но всякий раз на помощь ему являлась дружественная рука, которая на бессрочное время обеспечивала за ним возможность делать разводы, парады и манёвры...

В настоящее время от всех этих симпатичных качеств осталось за Берлином одно, наименее симпатичное: головная боль, которая и доньше свинцовой тучей продолжает парить над городом. Всё прочее радикально изменилось. Застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость—ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство, скромность—неудачным стремлением подкупить иностранцев мещанскою роскошью новых кварталов и каким-то второразрядным развратом, безобразный цинизм которого тщетно усиливается затмить красивый и щеголеватый парижский цинизм. Уже подъезжая

¹ Для себя.

к Берлину, иностранец чувствует, что на него пахнуло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подошв из Орфеума. И так как ни то, ни другое, ни третье не заключают в себе ничего привлекательного, то путник спешит в первую попавшуюся гостиницу, чтоб почиститься и выспаться, и затем нимало не медля едет дальше.

Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка в движении, конечно, нет (да и не может не быть движения в городе с почти миллионным населением), но это какое-то озабоченное, почти вымученное движение, как будто всем этим двигающимся взад и вперед людям до смерти хочется куда-то убежать. Каждому удаляющемуся экипажу так и хочется крикнуть вслед: счастливцев! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда! Ни гула, напоминающего пчелиный улей (такой гул слышится иногда в курортах, и всегда в Париже), ни этой живой связи между улицей и окаймляющими её домами, которая заставляет считать первую как бы продолжением последних,—ничего подобного нет. Одно непрерывное и молчаливое маятное движение и ничего больше...

Ту же щемящую скуку, то же отсутствие непоказной жизни вы встречаете и на улицах Берлина. Я согласен; что в Берлине никому не придёт в голову, что его «занапрасно» сведут в участок, или обругают, но, по мнению моему, это придаёт уличной озабоченности ещё более удручающий характер. Кажется, что весь этот люд высыпал на улицу за тем, чтобы купить на грош колбасы; купил, и бежит поскорей домой, как бы знакомые не увидели и не выпросили.

В соответствии с улицами и магазины берлинские смотрят уныло, хотя есть между ними достаточное число обширных и заваленных товаром. Это скорее кладовые, нежели магазины...

Но самый гнетущий элемент берлинской уличной

жизни—это военный. Сравнительно с Петербургом военный гарнизон Берлина не весьма многочислен но тела ли прусских офицеров дюжее, груди ли у них объёмистее, как бы то ни было, но делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер. Одет он каким-то чудачком, в форму напоминающую наши военные сюртуки, и фуражки сороковых годов; грудь выпячена колесом, усы закручены в колечко... Идет румяный, крупичатый, довольный, точно сейчас получил жалованье, что не мешает ему, впрочем, относиться к ближнему с строгостью и скоростью. Мне кажется, что Держиморда именно был бы таков, если б не заел его Сквозник-Дмухановский и он сам не имел бы слабости к спиртным напиткам.

Когда я прохожу мимо берлинского офицера, меня всегда берёт оторопь. Даже в Баден-Бадене, в Эмсе мне делалось жутко, когда, бывало, привезут в курзал из Рапштата или из Кобленца несколько десятков офицеров, чтоб доставить удовольствие à ces dames¹. Не потому жутко, чтоб я боялся, что офицер кликнет городского, а потому, что он всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет в меня: я герой! Мне кажется, что если бы вместо того он сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать,—мне было бы легче... Но пусть они не показываются днём на улице, пусть не напоминают мне, смирному и скромному... что я ежемгновенно могу погибнуть, как червь, если за меня не бдит недремлющее око его... героя!

Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего он в объёме тоньше и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я герой! Русский человек способен быть дей-

¹ Этим дамам.

ствительным героем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет таращить глаза. Он смотрит на геройство без панибратства и, очевидно, понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить с собою, в числе прочей амуниции. Напротив, пруссак убеждён, что раз он произведен, с соизволения начальства, в герои, раз ему воздвигнут на Королевской площади памятник, то он обязывается с честью носить это звание не только на улицах, но и в садах Орфеума. Разумеется, простых людей это стесняет.

Может быть, поэтому-то и берлинская весёлость имеет какой-то неискренний, мрачный характер. Как тут искренно веселиться, когда бок-о-бок с вами торчит «герой», который, того гляди, начнёт повествовать об Вёрте или об Седане? А между тем не веселиться нельзя. Во-первых, современный берлинец чересчур взбаламучен рассказами о парижских веселостях, чтоб не попытаться завести у себя что-нибудь à l'instar de Paris¹...

...Чувство собственного достоинства, заменяется оскорбительным и в сущности довольно глупым самомнением, где шовинизм является обнажённым, без всякой примеси энтузиазма, где не горят сердца ни любовью, ни ненавистью, а воспаляются только подозрительностью к соседу, где нет ни истинной приветливости, ни искренней весёлости, а есть только желание похвастаться и расчет на трипкгельд², — там, говорю я, не может быть и большого хода свободе...

Я не имею никаких данных утверждать, что Берлин *никогда* не делается действительным руководителем германской умственной жизни, но, судя по современному настроению умов, думаю, что *в настоящее время*

¹ По примеру Парижа.

² Чаевые деньги.

для доброй половины Германии Берлин не только не симпатичен, но даже прямо неприятен. Он у всех что-нибудь отнял и ничем за отнятое не вознаградил. И вдобавок везде насовал берлинского солдата с соответствующим количеством берлинских же офицеров. Какое, спрашивается, имел он право смущать сон добродушных баденцев вечно присущим представлением о выпяченных грудях и вытаращенных глазах? И была ли в том надобность?

Одним словом, вопрос, для чего нужен Берлин—оказывается вовсе не столь праздным, как это может представиться с первого взгляда. Да и ответ на него не особенно затруднителен, так как вся суть современного Берлина, всё мировое значение его сосредоточены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название *Главный штаб...*

«За рубежом».

Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швакопф, по ремеслу барон. Специальность его состояла в том, что он ни на одном языке не имел таланта выражаться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него нет в голове никакой—«мизль» (мысль). Встречаю на-днях и его—тоже чуть не сплошь изукрашен алмазами общественного доверия; тоже—взгляд светлый, смелый, ничего не выражающий, кроме пронзительности; тоже—голос властный, уверенный, способный выражать твёрдость и непреклонность.

— Ну, что, как наша «мизль»?—спрашиваю я его по старой, закоренелой привычке.

— Мой «мизль»—нет «мизль»!—ответил он мне...

«Признаки времени».

В. С. КУРОЧКИН

(1831—1875)

Честный немец, добрый гражданин,
Живший мирно, жиром заплывая,
Как-то раз, соскучившись, один
Сам с собою рассуждал, мечтая:

«Как приятно создан божий свет!

Уж чего-чего на свете нет—

Взять, к примеру, здешнюю столицу...

Но я скромный немец и вполне

Был бы счастлив, если б только мне

Четверть пива, трубку и девицу!»

Скромный немец из дому стрелой:

Табаку купил в табачной лавке,

Захватил посуду в полпивной

И шмыгнул к знакомым по Канавке;

И оттуда вышел с торжеством—

Под руку с девицей-божеством.

У обоих радужные лица.

Немец, весел; думает: «Зер гут!

Счастье жизни всё со мною тут:

Четверть пива, трубка и девица!»

Вот наполнил немец, не спеша,

Кружку пивом пенистым сначала—

Уж его немецкая душа

Райское блаженство предвкушала...

Вот набил он трубку табаком

И с собою усадил рядком

Наслажденья пухленькую жрицу,

Но подумал: «Разом мудрено:

Надо прежде что-нибудь одно—

Четверть пива, трубку иль девицу!»

Взял он кружку—но отдумал пить;

Трубку взял—не стал курить и трубки,

А рванулся, чтоб скорей влепить
Поцелуй в раскрашенные губки,
И задел посудину рукой.
Пиво к милой хлынуло рекой...
Милая вспорхнула, будто птица,
Платьем трубку вышибла из рук—
И исчезло всё блаженство вдруг:
Четверть пива, трубка и девица!

Эта песня, правда, не нова,
Не такое времечко приспело:
Музыку на старые слова
Сочиняют люди то-и-дело.

Та же песня завтра, что вчера,
Про Вильгельма, Людвига и Фрица;
Каждый немец про себя смекай:
Ведь одна минута—и прощай
Четверть пива, трубка и девица!

«Четверть пива и проч.».

В. И. БОГДАНОВ

(1838 — 1886)

* * *

План затеяв исполинский,
Бисмарк думает тайком:
— Всю Германию—берлинской
Нужно сделать!.. Всех прижмём,
Вывем с силой молодецкой
Лотарингию, Эльзас...
Где звучит язык немецкий—
Там добыча есть для нас.
И толкует он народу:

— Эй, народ, свою свободу
Ты в единстве лишь найдёшь,—
Надобен грабёж!

«План».

Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

(1842—1904)

Небывалая война потрясает Европу; из архивной пыли выкапывается германская императорская корона; почтенные немецкие учёные дуреют; Европа превращается в ежа со стальными щетинами. Идея германской империи есть идея всемирной монархии...

Европа ещё наглядится на кровь, наслышится стонов и пушечной пальбы. Уже прусские прогрессисты до такой степени увлеклись успехом, что проектируют союз с Австрией против славянства; уже Мольтке, как уверяет одна английская газета, составил план вторжения в Англию. Что-то будет? Верно, то, что на несколько десятков лет «прусская цивилизация» окрасит собою мир.

Однако, в конце концов, падение этой цивилизации есть вопрос времени... Вопрос только в том, как и когда провалится дело Бисмарка. Быть может, эту задачу исполнит коалиция европейских государств.

«Отечественные записки», 1871, февраль.

Г. И. УСПЕНСКИЙ

(1843—1902)

В самом деле, только пересхали вы границу, только было стали облизываться от дешевизны бутербродов—хватать, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют понятия и которая заста-

вляет вас сразу терять аппетит ко всем этим прелестным газовым рожкам, мостовым, «по таксе» и т. д. Палаши, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя—попадают на каждом шагу, поминутно; тут отдают честь, здесь сменяют караул, там что-то выделывают ружьём, словно в помешательстве, а потом с гордым видом идут куда-то... В окне магазина—победители в разных видах: пропарывает живот французу и потом, возвратившись на родину, обнимает своё семейство; бакенбарды у героев расчёсаны совсем не в ту сторону, куда бы им следовало... У иных одно лицо сделано величиною в аршин (из мрамора, из металла), причём усы, как бычачьи рога, стремятся вас запороть, положить на месте. Насмотревшись на это, подите укрыться в портерную, но и там то же: сабли и палаши ездят по ногам, повсюду шевелятся усы, одни другим отдают честь и все вместе вновь пришедшему. Но существеннейшая вещь—это полное убеждение в своём деле, в том, что бычачьи рога вместо усов есть красота почище красоты прекрасной Елены. Спросите любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в нём сидит образцовый сознательный зверь.

«Большая совесть».

Я понял, что администрация Лувра сделала великое для всего мира дело, спрятав эту каменную загадку (статую Венеры Милосской.—*Ред.*)... в глубине непроницаемых для прусских бомб подвалов; представить себе, что какой-то кусок чугуна, пущенный дураком, наевшимся гороховой колбасы, мог бы раздробить это в мелкие дребезги... Какие подлецы! Еле-еле домчатся до гороховой колбасы и смеют...

«Выпрямила».

Что стоит удовольствие сознавать хотя бы только то, что в географических картах река эта значитя не в том полушарии, где живут господа Бисмарки и другие великие люди, и где огромный кулак, образующийся из дружественного рукопожатия трех монархов, германского, итальянского и австрийского, именуется эмблемою мира и всеобщего благополучия... впереди вас не Пруссия, не германская граница, т. е. не загородь от дружественного союза, из которой уже высовываются сверкающие кончики штыков, а... дальше океан, а за океаном Америка, страна без Бисмарка и Буланже. Канцлер и три дружественные фигуры, заслонённые собственным триединым кулаком, уходят от вас куда-то назад, затуманиваются и, наконец, совершенно исчезают, забываются: тяжкое бремя тяжких мыслей покидает вас, и освобождённому, хоть на время, сознанию есть свободные минуты отдохнуть и побыть спокойным.

«Поездки к переселенцам».

Успенский цитирует речь председателя конгресса французской молодёжи Мерже: «Немецкие войны велись только ради захвата, ради того, чтобы завладеть чужим и угнетать его. Немецкая молодежь вовсе не чужда этой идеи, руководящей немецкой нацией в её войнах, и не только не чужда, а прямо воспитывается в этой идее... Почитайте немецких поэтов: Арндта, Кернера, Шелендорфа... Мне, как закоренелому российскому патриоту,—говоря правду,—очень по вкусу такой афронт, нанесённый немцам...

«Заграничный дневник провинциала».

«Ведь как рыло-то воротит, а что такое в ём?—говорит мужик, имевший какое-нибудь соприкосновение с немцем...—И не подходит!»

И действительно,—что же такое особенного в этом гордом немце? Почему он с такой уверенностью говорит: «мужик—дурак, даже свинья»? Почему всякая немецкая невеста не теряет сознания какого-то своего преимущества?

«Искушения на Казанской пристани».

Я видел их в Берлине в 1871 году, после разгрома Франции... Все эти Фрицы, Михели, Карлуши-колбасники разбухли от сознания солдатского величия: ходят самодовольные, грудь колесом, морда кверху, усы, словно бычьи рога... К толпе презрение, в глазах что-то звёрское... А дальше что будет, когда все пять миллиардов они ухлопают на новые пушки, ружья, палаши, ведь только и думают, как бы, стальной щетиною сверкая, нагнать на всех страх.

«Воспоминания» Иванчина-Писарева.

В. Г. КОРОЛЕНКО

(1853—1921)

Учитель немецкого языка, Кранц... Подвижной человек, небольшого роста, с голым лицом, лишённым растительности, сухой, точно сказочный лемур, состоящий из одних костей и сухожилий. Казалось, этот человек сознательно стремился сначала сделать свой предмет совершенно бессмысленным, а затем всё-таки добиться, чтобы ученики его одолели. Вся грамматику он ухитрился превратить в изучение окончаний.

— Леонтович,—вызывает он, нарочью коверкая фамилию и переставляя ударение.—Склоняй: der Mensch.

Леонтович встаёт и склоняет, произнося не слова, а только окончания: именительный: с, ц, аш, роди-

тельный: э, эн, дательный: э, и, винительный: э, и.
Множественное число: э, и, и так далее.

Если ученик ошибался, Кранц тотчас же принимался передразнивать его, долго кривляясь и коверкая слова на все лады. Предлоги он спрашивал жестами: ткнёт пальцем вниз и вытянет губы хоботом—надобно отвечать: unten; подымет палец кверху и сделает гримасу, как будто его глаза с жёлтыми белками следят за полётом птицы—oben. Быстро подбежит к стене и шлёпнет по ней ладонью—ап...

— Такой-то... Пусть там себе *ат* или *ят*? Пусть бы там себе *али* или *ели*?

Ученик, по возможности быстро, должен ответить такой же тарабарщиной.

Язык Шиллера и Гёте он превращал в бестолковую смесь ничего не означающих звуков и кривляний... Шутовство это было вдобавок сухое и злобное. Ощущение было такое, как будто перед несколькими десятками детей кривляется подвижная, злая и опасная обезьяна. Может быть, для стороннего зрителя её движения, и прыжки могли бы показаться забавными. Но ученики чувствовали, что у этого прыгающего взвизгивающего, жестикулирующего существа очень острые когти и власть... до звонка. Звонок являлся настоящим криком петуха, прогонявшим кошмарное видение...

В каждом классе у Кранца были избранники, которых он мучил особенно охотно... В первом классе таким мучеником был Колубовский, маленький карпуз с большой головой и толстыми щеками... Входя в класс, Кранц обыкновенно корчил гримасу и начинал брезгливо водить носом. Все знали, что это значит, а Колубовский бледнел. В течение урока эти гримасы становились всё чаще, и, наконец, Кранц обращался к классу:

— Чем это тут пахнет, а? Кто знает, как сказать по-немецки «пахнет»? Колубовский! Ты знаешь, как

по-немецки—«пахнет»? А как по-немецки: «портить воздух»? А как сказать: «ленивый ученик»? А как сказать: «ленивый ученик испортил воздух в классе»? А как по-немецки: «пробка»? А как сказать: «мы заткнём ленивого ученика пробкой»?... Колубовский, ты понял? Колубовский, иди сюда, komm her, mein lieber Kolubowski. Ну-у!..

С шутовским жестом он вынимал из кармана пробку. Бедный карапуз бледнел, не зная, идти ли на вызов учителя или бежать от злого шута. В первый раз, когда Кранц проделал это представление, малыши невольно хохотали. Но когда это повторилось,— в классе стояло угрюмое молчание. Наконец, однажды Колубовский выскочил из класса почти в истерике и побежал в учительскую комнату... Но здесь вместо связного рассказа выкрикивал одни только ругательства: «Кранц подлец, дурак, сволочь, мерзавец»... Инспектор и учителя были очень удивлены этой вспышкой маленького клопа. Когда дело разъяснилось из рассказов старших учеников учителям,— совет поставил Кранцу на вид неуместность его шутовских водевилей.

Первое время после этого Кранц приходил в первый класс жёлтый от злости и старался не смотреть на Колубовского, не заговаривал с ним и не спрашивал уроков. Однако выдержал не долго: шутовская мания брала своё, и, не смея возобновить представление в полном виде, Кранц всё-таки водил носом по воздуху, гримасничал и, вызвав Колубовского, показывал ему из-за кафедры пробку.

«История моего современника».

Такая же неожиданная демонстрация была устроена и Кранцу. На этого мучителя пришёл чёрный день. Он жил на квартире у немолодой вдовы, и по городу пошли сплетни, что наш сухой и жиливатый лемур

воспылал нежной страстью к своей дебелой хозяйке. Городок вообще был полон сплетнями, и слух об этой связи тлел среди других более или менее пикантных слухов, пока однажды дело не разразилось неожиданным и громким скандалом: Кранц объявил о своём переезде на другую квартиру; тогда бойкая вдова ворвалась в заседание гимназического совета и принесла с собой невинного младенца, которого и предложила на попечение всего педагогического персонала.

Через несколько дней из округа пришла телеграмма: *немедленно* устранить Кранца от преподавания. В большую перемену немец вышел из гимназии, чтобы более туда не возвращаться. Зелёный и злой, он быстро шёл по улице, не глядя по сторонам, весь поглощённый злобными мыслями, а за ним шла гурьба учеников, точно стая собачонок за затравленным, но всё ещё опасным волком.

Так он дошёл до квартиры Колубовских. Это была многочисленная семья, из которой четверо или пятеро учились в гимназии. Все они были маленькие, толстощёкие и очень похожи друг на друга. Самый маленький, жертва Кранца, был общий любимец. В этот день он был болен и оставался дома. Но когда братья прибежали к нему с радостною вестью, малыш вскочил с постели и, увидев в окно проходившего мучителя, выскочил на улицу. Братья кинулись за ним, и затравленный волк счутился в курьёзной осаде. Младший Колубовский с сверкающими глазами, заступил ему дорогу и крикнул:

— А, что, проклятый немец? Прогнали? Прогнали? Будешь мучить? Проклятый, проклятый!..

Остальные братья тоже бежали с ругательствами. К ним присоединились бывшие поблизости ученики, и взбешенный Кранц, всё прибавляя шагу, дошёл до своей квартиры, сопровождаемый свистом, гиканьем и криками «ура». К счастью, квартира была неда-

лею. На крыльце немец оглянулся и погрозил кулаком, а в окно выглядывало злорадное лицо бедной жертвы его коварства...

К концу этой сцены с угрюмыми и сконфуженными лицами проходили мимо другие учителя. Ученикам было совестно смотреть на них, но, кажется, и учителям было совестно смотреть на учеников.

«История моего современника».

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

(1821—1881)

Как мне здесь всё ненавистно. Какие подлые немцы...

...Эмс страшно дорогой городишко. Я очень много плачу и еслиб ты знала как всякий из этих немцев считает тебя за доходную статью, как безо всякого стыда приписывает на счёте то, что ты никогда не брал, надеясь, что ты не проверишь!..

Немцы до того грубо воспитаны (все), что если он стоит сзади кого бы там ни было в ряду и ждёт очереди, то, так как он держит в руке стакан и от нетерпения беспрерывно подымает его, чтоб показать, что он ждёт, то, чтоб не держать стакан на весу, он кладёт обыкновенно свою руку с стаканом на плечо впереди стоящего, даже хоть на даму. Я этого раз не позволил и прочёл одному немцу наставление, что он дурно воспитан. Немец вспыхнул и ответил мне, что здесь места нет для салонных вежливостей. Я ответил ему, что, чтоб быть вежливым для деликатного человека всегда найдётся место.

Ф. М. Достоевский — А. Г. Достоевской.

Вот господин Крафт... Вследствие весьма обыкновенного факта, пришёл к весьма необыкновенному

заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный... которому предназначено послужить материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества.

«Подросток».

Второе обстоятельство, разозлившее меня и сделавшее несправедливым, был новый кельнский мост. Мост, конечно, превосходный, и город справедливо гордится им, но мне показалось, что уж слишком гордится. Разумеется, я тотчас же на это рассердился. При том же собирателю грошей при входе на чудесный мост вовсе не следовало брать с меня эту благоразумную пошлину с таким видом, как будто он берёт с меня штраф за какую-то неизвестную мне мою провинность. Я не знаю, но мне показалось, что немец куражится. «Верно догадался, что я иностранец, и именно русский», подумал я. По крайней мере, его глаза чуть не приговаривали: «Ты видишь наш мост, жалкий русский,—ну, так ты червь перед нашим мостом и перед всяки немецки человек, потому что у тебя нет такого моста». Согласитесь сами, что это обидно. Немец, конечно, этого вовсе не говорил, даже, может, и на уме у него этого не было, но ведь это всё равно: я так был уверен тогда, что он именно это хочет сказать, что вскипел окончательно. «Чорт возьми, думал я, мы тоже изобрели самовар... У нас есть журналы... У нас делают офицерские вещи... у нас...» Одним словом, я рассердился и, купив склянку одеколону (от которой уж никак не мог отвертеться), немедленно ускакал в Париж, надеясь, что французы будут гораздо милее и занимательнее... Даже луч солнца, простой какой-нибудь луч солнца тут много значил... сиял он над собором, как и сиял он во второй мой приезд в город Кельн, и здание наверно бы

мне показалось в настоящем своем свете, а не так, как в то пасмурное и даже несколько дождливое утро, которое способно было вызвать во мне одну только вспышку уязвлённого патриотизма.

«Зимние заметки о летних впечатлениях».

Боже, что это за скучный, [за] ужасный город Берлин!..

Немцы в воскресенье были все на улицах и в праздничном платье, народ грубый и неотёсанный...

В заключение об Эмсе—здесь давка, публика со всего мира, костюмы и блеск и всё-таки одна треть №№-в не заняты. Магазины подлейшие. Хотел было купить шляпу, нашёл только один магазинишка, где товар как у нас на толкучем. И всё это выставлено с гордостью, цены непомерные, а купцы рыло воротят.

Ф. М. Достоевский — А. Г. Достоевской.

Немцы народ по преимуществу самодовольный и гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет: он поёт самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный, как стелька, но гордый собою.

Ф. М. Достоевский — А. Г. Достоевской.

Возьмём сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть король в Швабии, и учёные, с серьёзною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и не-

учёные простолюдины с более скромною, но добро-совестною целью печь булки и коптить колбасы—разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются разными великанами и великаншами, с учёным сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия. Но какая бы ни была разница между учёным немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России,—в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то большое чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя его мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими,—вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию.

«Критические статьи».

Как только въехали в немецкую землю, так тотчас же все шесть немцев нашего купе, чуть только заперли нас вместе, заговорили между собою о войне и о России. Мне это показалось любопытным, и хотя я знал, что в немецкой печати, именно теперь, огромный толк об России, но всё же не думал, что об этом у них и на площадях говорят. Это были далеко «не высшие» немцы; тут наверное не было ни одного барона и даже ни одного немецкого военного офицера. Да и говорили они не о «высшей» политике, а лишь об настоящих силах России, преимущественно военных, об силах лишь в данный момент,

в настоящую минуту. С торжествующим и даже несколько надменным спокойствием они сообщили друг другу, что никогда ещё Россия не была в таком слабом состоянии по части вооружения и проч. Один важный и рослый немец, ехавший из Петербурга, сообщил самым компетентным тоном, что у нас, будто бы, не более двухсот семидесяти тысяч чуть-чуть порядочных скорострельных ружей, а остальное всё лишь переделка кое-как из старого и что всех скорострельных ружей, вместе взятых, не доходит, будто бы, и до полумиллиона. Что металлических патронов у нас заготовлено пока ещё не более шестидесяти миллионов, т. е. всего лишь по шестидесяти выстрелов на солдата, если считать всю армию во время войны в миллион, и, кроме того, утверждал, что и патроны-то эти дурно сделаны. Они, впрочем, толковали довольно весело. Надо заметить, что они знали про меня, что я русский, но по несколькими словам моим с кондуктором, очевидно, заключили, что я не знаю по-немецки. Но я хоть и дурно говорю по-немецки, за то понимаю. После некоторого времени я счёл «патриотическим долгом» возразить, но как можно менее горячась, чтоб попасть в их тон, что все их цифры и сведения преувеличены в дурную сторону, что ещё четыре года назад у нас вооружение войск доведено было до весьма удовлетворительного результата, но что с тех пор оно ещё увеличилось, так как дело вооружения продолжается непрерывно, и что мы теперь никому не уступим. Они выслушали меня внимательно, не смотря на мой дурной немецкий разговор, и даже сами подсказывали мне всякий раз то немецкое слово, которое я забывал и на котором запинался в речи, ободрительно кивая головами в знак того, что меня понимают. (N. В. Если вы говорите дурно на немецком языке, то, чем выше по образованию немец—ваш слушатель, тем скорее он вас поймет;

с уличной же толпой, или, например, с прислугой, дело совсем другое: те понимают тупо, хотя бы вы забыли всего одно слово в целой фразе, и особенно, если, вместо общеупотребительного какого-нибудь слова, употребили другое, менее принятое; тут вас иногда даже совсем не поймут. Не знаю, так ли это с французами, с итальянцами, но вот про русских севастопольских солдат рассказывали и писали, что они разговаривали с пленными французскими солдатами в Крыму (разумеется, жестами!) и умели понимать их; стало быть, еслиб знали хотя только половину слов, которые говорил француз, то поняли бы его совсем. Немцы не сделали мне ни одного возражения, они лишь улыбались словам моим, но не высокомерно, а даже одобрительно, совершенно уверенные, что я, как русский, говорю лишь защищая русскую честь, но по глазам их было видно, что не поверили мне ни капли и остались при своём.

«Дневник писателя».

Теперь, с разгромом Франции, передовой главнейшей и христианнейшей католической нации, пять лет назад, германец уверен уже в своём торжестве всецело и в том, что никто не может стать вместо него в главе мира и его возрождения. Верит он этому горло и неуклонно; верит, что выше германского духа и слова нет иного в мире и что Германия лишь одна может изречь его. Ему смешно даже предположить, что есть хоть что-нибудь в мире, даже в зародыше только, что могло бы заключать в себе хоть что-нибудь такое, чего бы не могла заключать в себе предназначенная к руководству мира Германия. Между тем очень не лишнее было бы заметить, хотя бы только в скобках, что во все девятнадцать веков своего существования Германия,

только и делавшая, что протестовавшая, сама своего *нового слова* совсем ещё не произнесла, а жила лишь всё время одним отрицанием и протестом против врага своего, так что, например, весьма и весьма может случиться такое странное обстоятельство, что когда Германия уже одержит победу окончательно и разрушит то, против чего девятнадцать веков протестовала, то вдруг и ей придётся умереть духовно самой, вслед за врагом своим, ибо не для чего будет ей жить, *не будет против чего протестовать...*

«Дневник писателя».

Идею славянскую германец презирает так же, как и католическую, с тою только разницею, что последнюю он всегда ценил как сильного и могущественного врага, а славянскую идею не только ни во что не ценил, но и не признавал её даже вовсе до самой последней минуты. Но с недавних пор он уже начинает коситься на славян весьма подозрительно. Хоть ему и до сих пор смешно предположить, что у них могут быть тоже хоть какие-нибудь цель и идея, какая-то там надежда тоже «сказать что-то миру», но, однакоже, с самого разгрома Франции мнительные подозрения его усилились, а прошлогодние и текущие события уж, конечно, не могли облегчить его недоверчивости. Теперь положение Германии несколько хлопотливое: во всяком случае и прежде всяких восточных идей ей надо кончить своё дело на Западе. Кто станет отрицать, что Франция, недобитая Франция, не беспокоит и не беспокоила германца во все эти пять лет после своего погрома именно тем, что он не добил её. В семьдесят пятом году это беспокойство достигло в Берлине чрезвычайного даже предела, и Германия наверно ринулась бы, пока есть ещё время, добивать исконного своего врага, но помешали некоторые чрезвычайно сильные об-

стоятельства. Теперь же, в этом году, сомнения нет, что Франция, усиливающаяся материально с каждым годом, ещё страшнее пугает Германию, чем два года назад. Германия знает, что враг не умрёт без борьбы, мало того, когда почувствует, что оправился совершенно, то сам задаст битву, так что через три года, через пять лет может быть будет уже очень поздно для Германии. И вот, в виду того, что Восток Европы так всецело проникнут своей собственной, вдруг восставшей идеей, и что у него слишком много теперь дела и у себя самого, в виду того весьма и весьма может случиться, что Германия, почувствовав свои руки на время развязанными, бросится на западного врага окончательно, на страшный кошмар её мучающий и—всё это даже может случиться в слишком и слишком недалёком будущем. Вообще же можно так сказать, что если на Востоке дела натянуты, тяжелы, то чуть ли Германия не в худшем ещё положении. И чуть ли у ней ещё не более опасений и всяких страхов в виду, несмотря на весь её непомерно гордый тон,—и это по крайней мере нам можно взять в особое внимание.

«Дневник писателя».

Л. Н. ТОЛСТОЙ

(1828 — 1910)

Пфуль был один из тех безнадёжно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми бывают только немцы... Немец самоуверен хуже всех, и твёрже всех и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина.—Таков очевидно был Пфуль. У него была наука—теория облического движения, выведенная им из истории

войн Фридриха Великого, и всё, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.

«Война и мир».

В самом деле, что должно сделаться в голове какого-нибудь Вильгельма германского, ограниченно-го, мало образованного, тщеславного человека с идеалами немецкого юнкера, когда нет той глупости и гадости, которую бы он сказал, которая бы не встречена была восторженными *hoch*¹ и, как нечто в высшей степени важное, не комментировалось бы прессой всего мира. Он скажет, что солдаты должны убивать по его воле даже своих отцов—кричат ура! Он скажет, что евангелие надо вводить железным кулаком—ура! Он скажет, что в Китае войска должны не брать в плен, а всех убивать, и его не сажают в смиренный дом, а кричат ура и плывут в Китай исполнять его предписание...

«Не убий».

А. П. ЧЕХОВ

(1860—1904)

Между прочим, недавно в Новом Времени среди газет и журналов была сделана цитата из какой-то газеты, восхваляющая немецких горничных за то, что они работают *целый* день, как каторжные, и получают за это только два-три рубля в месяц. Новое Время расписывается под этой похвалой и добавляет

¹ Ура.

от себя, что беда-де наша в том, что мы держим много лишней прислуги. По-моему, немцы подлецы и плохие политико-экономы. Во-первых, нельзя говорить о прислуге таким тоном, как об арестантах; во-вторых, прислуга правоспособна и сделана из такого же мяса, как и Бисмарк; она—не рабы, а свободные работники; в-третьих, чем дороже оплачивается труд, тем счастливее государство, и каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы за труд платить подороже.

А. П. Чехов—А. С. Суворину.

Кстати о Феодосии и татарах. У татар расхитили землю, но об их благе никто не думает. Нужны татарские школы. Напишите, чтобы деньги, затрачиваемые на колбасный Дерптский университет, где учатся бесполезно немцы, министерство отдало бы на школы татарам, которые полезны для России.

А. П. Чехов—А. С. Суворину.

Я живу среди немцев, уже привык и к комнате своей и к режиму, но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 час. утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса... Наша русская жизнь гораздо талантливее...

А. П. Чехов—М. П. Чеховой.

В. Я. БРЮСОВ

(1873—1924)

Одно: итти должны до края мы,
Всё претерпев, не ослабеть.

День торжества, день нами чаемый
Когда-то должен заблестеть...

Под Нарвами, под Аустерлицами
Учились мы Бородину.
Нет, мало овладеть столицами,
Чтоб кончить русскую войну!

————— *«Чаша испытаний»*,

Ты переполнил чашу меры,
Тевтон,—иль как назвать тебя!
Соборов древние химеры
Отмстят, губителя губя.

Подъявший длань на храмы-чудо,
Громящий с неба Notre Dame,
Знай: в Реймсе каменная гряда
Безмолвно вопиет к векам!

И этот вопль призывный слышат
Те чудища, что ряд веков,
Над Сеной уместившись, дышат
Мечтой своих святых творцов.

Не даром зодчий богомольный
На высоту собора взнёс,
Как крик над суетой юдольной,
Толпу своих кошмарных грёз.

Они—защитницы святыни,
Они—отмстительницы зла,
И гневу их тебя отныне
Твоя гордыня обрекла.

Их лик тебе в дыму предстанет,
Их коготь грудь твою пробьёт,

Тебя смутит и отуманит
Их крыльев демонский разлёт;

И суд, что не исполнят люди,
Докончат сонмы скрытых сил
Над тем, кто жерлами орудий
Святыне творчества грозил.

«Тевтону».

Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы неуместной.
Пред строем опасных врагов
Сомкнёмся спокойно и тесно.

Не надо обманчивых грёз,
Не надо красивых утопий;
Но Рок подымает вопрос:
Мы кто в этой старой Европе?

Случайные гости? орда,
Пришедшая с Камы и с Оби,
Что яростью дышит всегда,
Всё губит в бессмысленной злобе?

Иль мы—тот великий народ,
Чьё имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поёт
Созвучно с напевом санскрита?

Иль мы—тот народ-часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один под грозой
В века испытаний тяжёлых?

Иль мы—тот народ, кто обрёл
Двух сфинксов на отмели невской,
Кто миру титанов привёл,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?

Да, так, мы—славяне! Иным
Доныне ль наш род ненавистен?
Легендой ли кажутся им
Слова исторических истин?

И что же! священный союз
Ты видишь, надменный германец?
Не с нами ль свободный француз,
Не с нами ль свободный британец?

Не надо заносчивых слов,
Не надо хвальбы величавой,
Мы явим пред ликом веков,
В чём наше народное право.

Не надо несбыточных грёз,
Не надо красивых утопий.
Мы старый решаем вопрос:
Кто мы в этой старой Европе?

—————
«Старый вопрос».

Я первые полёты славил
Пропеллером свистящих птиц,
Когда впервые Райт оставил
Железный рельс и бег направил
По воле—в поле, без границ.

Пусть голос «северного барда»
Был слаб, но он гласил восторг
В честь мирового авангарда:
Того, кто грёзу Леонардо
Осуществил и цепь расторг.

Казалось:—мы у новой эры,
От уз плотских разрешены,—
Земли, воды и атмосферы
Владыки, до предельной меры
В своих мечтах утолены!

Казалось: уничтожив грани
Земель, народов, государств,—
Жить дружественностью начинаний
Мы будем, вне вражды и брани,
Без прежних распрей и коварств.

И что же! Меж царей лазури,
В свои владенья взявших твердь,
Нашлись, пособниками фурий,
Опасней молний, хуже бури
Те, что возносят в небо смерти!

Не в честный бой под облаками
Они, спеша, стремят полёт,
Но в полночь, тайными врагами,
Над женщинами, стариками,
Свергают свой огонь с высот!

Затем ли (горькие вопросы!)
Порывы вихренных зыбей
Смиряли новые матросы,
Чтоб там шныряли «альбатросы»
И рой германских «голубей»?

«К стальным птицам».

А. М. ГОРЬКИЙ

(1868 — 1936)

Берлин встретил его неприветливо: сыпался хорошо знакомый по Петербургу мелкий, серый дождь и бастовали носильщики вокзала. Пришлось самому та-

щить два тяжелых чемодана, шагать подземным коридором в толпе сердитых людей, подниматься с ними вверх по лестнице. Люди, в большинстве, рослые, толстые, они—ворчали и рычали, бесцеремонно задевая друг друга багажом и, кажется, не извиняясь. Впереди Самгина, мешая ему, шагали двое военной выправки, в костюмах охотников, в круглых шляпах, за ленты шляп воткнуты пёрышки какой-то птицы. Должно быть, пытаясь рассмешить людей, обиженных носильщиками, мужчины с пёрышками несли на палке маленькую корзинку и притворялись, что изнемогают под тяжестью ноши. Но смеялась только высокая, тощая дама, обвешанная с плеч до колен разнообразными пакетами, с чемоданом в одной руке, несессером в другой; смеялась она визгливо, напряжённо, из любезности; ей было очень неудобно идти, её толкали больше, чем других, и, прерывая смех свой, она тревожно кричала шутникам:

— Мой бог! Там стекло есть! О, Рихард, там ваза...

На площади, пред вокзалом, не было ни одного извозчика. По мокрым камням мостовой, сквозь частую сеть дождя, мрачно, молча шагали прилично одетые люди. Дождь был какой-то мягкий, он падал на камни совершенно бесшумно, но очень ясно был слышен однообразный плёск воды, стекавшей из водосточных труб, и сердитые шлепки шагов. Стояли плотные ряды тяжёлых зданий, сырость придала им почти однообразную окраску ржавого железа. Чувствуя, как в него сквозь платье и кожу просачивается холодное уныние, Самгин поставил чемоданы, снял шляпу, вытер потный лоб и напомнил себе:

— Безвыходных положений не бывает.

Из-за его спины явился седоусый, коренастый человек, в кожаной фуражке, в синей блузе до колен, с медной бляхой на груди и в огромных башмаках.

— Две марки до ближайшего отеля,—предложил ему Самгин.

— Нет,—сказал носильщик, не взглянув на него, и вздёрнул плечо так, как будто отталкивал.

«Пролетарская солидарность или—страх, что товарищи вздуют?»—иронически подумал Самгин, а носильщик с бока одним глазом заглянул в его лицо, движенцем подбородка указав на один из домов, громко сказал:

— Бальц пансион.

Забыв поблагодарить, Самгин поднял свои чемоданы, вступил в дождь, и через час, взяв ванну, выпив кофе, сидел у окна маленькой комнатки, восстанавливая в памяти сцену своего знакомства с хозяйкой пансиона. Толстая, почти шарообразная, в тёмно-рыжем платье и сером переднике, в очках на носу, стиснутом подушечками красных щёк, она прежде всего спросила:

— Вы—не еврей, нет?

Она сама быстро и ловко приготовила ванну и подала кофе, объяснив, что должна была отказать в работе племяннице забастовщика. Затем, бесцеремонно рассматривая гостя сквозь стёкла очков, спросила: что делается в России? Проверяя своё знание немецкого языка, Самгин отвечал кратко, но охотно, и думал, что хорошо бы, переехав границу, закрыть за собою какую-то дверь так плотно, чтоб можно было хоть на краткое время не слышать утомительный шум отечества и даже забыть о нём. А хозяйка говорила звонко, решительно и как бы не для одного, а для многих:

— Место Бебеля не в рейхстаге, а в тюрьме, где он уже сидел. Хотя и утверждают, что он не еврей, но он тоже социалист.

Улыбаясь, Самгин спросил: разве она думает, что все евреи социалисты, и богатые тоже?

— О, да!—гневно вскричала она.—Читайте речи

Евгения Рихтера. Социалисты—это люди, которые хотят ограбить и выгнать из Германии её законных владельцев, но этого могут хотеть только евреи. Да, да—читайте Рихтера, это—здравый немецкий ум!

И уже с клёкотом в горле она продолжала, взмахивая локтями, точно курица крыльями:

— Германия не допустит революции, она не возьмёт примером себе вашу несчастную Россию. Германия сама пример для всей Европы. Наш кайзер гениален, как Фридрих Великий, он—император, какого давно ждала история. Мой муж Мориц Бальц всегда внушал мне: Лизбет, ты должна благодарить бога за то, что живёшь при императоре, который поставит всю Европу на колени пред немцами...

Она была так толста и мягка, что правая ягодица её свешивалась со стула точно пузырь, такими же пузырями вздувались бюст и живот. А когда она встала—пузыри исчезли, потому что слились в один большой, почти не нарушая совершенство его формы. Наверху его вырос красненький нарывчик с трещиной, из которой текли слова...

За окном по влажным стенам домов скользили желтоватые пятна солнца. Самгин швырнул на стол странную книжку, торопливо оделся, вышел на улицу и, шагая по панелям как-то особенно жёстким, вскоре отметил сходство Берлина с Петербургом, усмотрев его в обилии военных, затем нашёл, что в Берлине офицера ещё более напыщенны, чем в Петербурге, и вспомнил, что это уже многократно отмечалось. Шёл он торговыми улицами, как бы по дну глубокой канавы, два ряда тяжёлых зданий двигались встречу ему, открытые двери магазинов дышали запахами кожи, масла, табака, мяса, пряностей, всего было много и всё было раздражающе однообразно. Вспомнились слова Лютова:

— Германия—прежде всего Пруссия. Апофеоз культуры неумеренных потребителей пива. В Париже, сопоставляя Нотр-Дам и Тур Эйфель, понимаешь иронию истории, тоску Мопассана, отвращение Бодлера, изящные сарказмы Анатолия Франса. В Берлине ничего не надо понимать, всё совершенно ясно сказано зданием рейхстага и «Аллеей Победы». Столица Пруссии—город на песке, нечто вроде опухоли на боку Германии, камень в её печени...

Серые облака снова начали крошиться мелким дождём. Самгин взял извозчика и возвратился в отель. Вечером он скучал в театре, глядя, как играют пьесу Ведекинда, а на другой день с утра до вечера ходил и ездил по городу, осматривая его, затем посвятил день поездке в Потсдам. К знакомым, отрицательным оценкам Берлина он не мог ничего добавить от себя. Да, тяжёлый город, скучный, и есть в нём—в зданиях и в людях—что-то угнетающе напряжённое. Коренастые, крупные каменщики, плотники работают молча, угрюмо, машинально. У них такие же груди «колесом» и деревянные лица, как у военных. Очень много толстых. Самгин решил посмотреть музеи и уехать.

Вот он в музее живописи.

После тяжёлой, жаркой сырости улиц было очень приятно ходить в прохладе мустынных зал. Живопись не очень интересовала Самгина. Он смотрел на посещение музеев и выставок, как на обязанность культурного человека, обязанность, которая даёт темы для бесед. Картины он обычно читал как книги и сам видел, что это обесцвечивает их.

Вечером—в нелепом сарае Винтергартена он подзрительно наблюдал, как на эстраде два эксцентрика изоцряются в комических попытках нарушить обычное. В глумливых фокусах этих ловких людей было

что-то явно двусмысленное,—публика не смеялась, и можно было думать, что серьёзность, с которой они извращали общепринятое, обижает людей.

— Босх тоже был эксцентрик,—решил Самгин.

Утром, неохотно исполняя обязанности путешественника, вооружённый красной книжкой Бедкера, Самгин цагал по улицам сплошь каменного города, и этот аккуратный, неуютный город вызывал у него тяжёлую скуку. Сыроватый ветер разгонял людей по всем направлениям, цокали подковы огромных мохнатоногих лошадей, шли солдаты, трещал барабан, изредка скользил и трубил, как слон, автомобиль—немцы останавливались, почтительно уступая ему дорогу, провожали его ласковыми глазами. Самгин очутился на площади, по которой аккуратно расставлены тяжёлые здания, почти над каждым из них в сизых облаках сиял собственный кусок голубого неба— всё это музеи. Раньше, чем Самгин выбрал, в который идти—грянул гром, хлынул дождь и загнал его в ближайший музей, там было собрано оружие, стены пестро и скучно раскрашены живописью, всё эпизоды Австро-Прусской и Франко-Прусской войн. В станках торчали ружья различных систем, шпаги, сабли, самострелы, мечи, копья, кинжалы, стояли чучела лошадей, покрытых железом, а на хребтах лошадей возвышалась железная скорлупа рыцарей. От множества разнообразно обработанного железа исходил тошнотворно-масляный и холодный запах. Самгин брезгливо подумал, что наверное многие из этих инструментов исполнения воинского долга разрубили черепа людей, отсекали руки, прокалывали груди, животы, обильно смачивая кровью грязь и пыль земли... В окна заглянуло солнце, ржавый сумрак музея посветлел, многочисленные гребни штыков заблистали ещё холоднее и особенно ледянисто осветилась железная скорлупа рыцарей...

В Мюнхене он отметил, что баварцы толще пруссаков, картин в этом городе, кажется, не меньше, чем в Берлине, а погода—ещё хуже. От картин, от музеев он устал, от солидной немецкой скуки решил перебраться в Швейцарию...

«Жизнь Клима Самгина».

В конечном итоге труд, организованный и организуемый энергией партии Ленина—Сталина в Союзе Советских Социалистических Республик, является началом новой, социалистической истории человечества. Нужно ли напоминать, что этим и объясняется дикая ненависть буржуазии к Союзу?

В данное время эта ненависть наиболее откровенно и ярко выражается в Германии Гитлера и К^о. «История повторяется». В Германии вырожденки истории—банкиры, фабриканты, помещики, лавочники— снова, как это было в начале XIX века, выдвигают солдата на роль завоевателя мира... Дело, разумеется, не только в Наполеонах, а в пушках, пулемётах, отравляющих газах, аэропланах и прочем, предназначенном для истребления миллионов людей ради спокойствия вырожденков и ублюдков. Всё потребное для сей высококультурной цели непрерывно и скоропалительно изготавливается.

«Две пятилетки».

Мы живём и работаем в эпоху сказочно быстрых процессов разрушения «старого мира»—процессов, причины коих были всесторонние, тщательно изучены и предреканы...

Выдвигая на посты своих вождей авантюристов, прибегая к террору, как единственному приёму самозащиты, лавочники всех стран объявили единственным средством спасения своего фашизм, т. е. организацию различных отбросов человечества (жуликов, истери-

ков, дегенератов и людей, ошеломлённых страхом гибели от голода) в армию бандитов, которые под командой полиции должны истреблять силу здоровую, способную к социальному творчеству,—революционный пролетариат... О жизнеспособности, талантливости, о мощных запасах творческих сил пролетариата с неоспоримой очевидностью говорят миру шестнадцатилетний героический труд пролетариев Союза Советов и фантастические результаты этого труда.

«Беседа с молодыми».

Мы видим, что миллионами трудового народа правят... бездарные авантюристы—Гитлер и подобные ему мошенники...

Они не могут жить, не организовав массового истребления народов, они—профессиональные убийцы рабочих масс. Известно, что мы, люди Союза Социалистических Советов, мешаем жить группе всемирных грабителей и убийц и что они очень хотели бы частью—уничтожить нас, частью—обратить в рабство.

«О пьесах».

Идиотизм деятельности людей, которые выдвинули фашистов исполнителями подлой воли своей, всё более очевиден; голодные походы безработных, грабёж рабочих, ещё имеющих работу, разорение крестьянства, рост количества мелких нарушений «могущественного права» буржуазии, рост убийств, поощряемый безнаказанностью фашистов и полицейских, ежедневно и публично на улицах убивающих рабочих, воспитание в мелкой буржуазии «анархизма отчаяния», развитие самоубийств, рост проституции, в том числе детской, истощение физических сил населения...

И вот эти—едва ли уже люди—готовят новую войну. Наделано очень много пушек, ружей, пулемё-

тов и прочее,—пора снова убивать людей, иначе— для чего работали? Насверлили пушек не для того, чтобы употреблять их в качестве водопроводных труб. Нельзя же создавать кризис и в военной промышленности.

«Краткий очерк скверной истории».

Сегодня мы видим, что его (мещанства.—*Ред.*) звериная ненависть к социализму, к работе раскрепощения трудящихся из железных цепей капитала принудила немецких лавочников отказаться от возлюбленной ими якобы «гуманитарной культуры» в пользу наглейшего разбоя, каким является воинствующий фашизм. Фашизм прежде всего ничем не прикрытое, циническое истребление революционного, но безоружного пролетариата одичавшими, но вооружёнными хозяевами, капиталистами. Затем фашизм—отрицание культуры, проповедь войны, крик обессилевшего о желании быть сильным...

Отказываются и от христианского бога, заменяя его дрезними, языческими богами, и явились миру в виде совершенно обнаженном, без штанов, в собственной коже, как жабы. Поспешно организуют новую всемирную бойню на земле, на воде, под землёй, в воздухе, с применением ядовитых газов, бактерий чумы и других эпидемий и всех «десяти казней египетских»...

Имеем ли мы право ненавидеть этих одичавших, неизлечимых дегенератов—выродков человечества, эту безответственную международную шайку явных преступников, которые наверно попробуют натравить свой «народ» и на государство строящегося социализма?

Подлинный, искренний революционер Советских Социалистических Республик не может не носить в себе сознательной, активной, героической ненависти к под-

лomu врагу своему. Наше право на ненависть к нему достаточно хорошо обосновано и оправдано.

«Пролетарская ненависть».

Сегодня Эрнсту Тельману исполнилось 50 лет. Четвёртый год фашисты держат его в тюрьме. Фашизм, это давно уже пора понять, есть садизм класса больного, издыхающего. Фашисты кровожаднее зверей, но более трусливы, чем звери. Они рубят головы коммунистам, но, разумеется, понимают, что каждая отрубленная голова возбуждает ненависть к фашизму в тысячах пролетарских сердец.

Настанет момент, когда все эти сердца вспыхнут единым пламенем и выжгут до корней фашизм, гнилую язву мира. Сокрушительное пламя это превратит в пепел не только вырождков человечества, но и всех гуманистов на словах, всех, кто, наполняя воздух пылью красивых слов сочувствия героям пролетариата, истребляемым грязным их врагом, остаётся равнодушным к судьбе узников фашизма. Да здравствует Тельман и его мужественные товарищи, которые неотомимо роют могилу фашизму!

«Приветствие Э. Тельману».

Горячо приветствую инициаторов великого дела сплочения трудящихся женщин на борьбу с военной опасностью и фашизмом. Пусть пример передовых тружениц науки и культуры, фабрик и заводов удвоит силы всего трудящегося человечества в его борьбе против тёмных сил реакции и белого террора. Желаю всяческого успеха вашему прекрасному начинанию.

Телеграмма женскому конгрессу в Париже.

Исполняя волю организаторов новой войны, которая неизбежно будет всемирной, фашисты Германии,

ставленники банкиров и фабрикантов оружия, опубликовали 2 мая весьма интересный закон. По смыслу этого закона *всякое действие и даже намерение, направленное к изменению социально-экономических условий в интересах и на пользу рабочего класса—рассматривается как «измена отечеству»* (подчеркнуто Горьким.—*Ред.*). Определение степеней этой измены возлагается на народный суд, который «состоит при главном разбирательстве из 5-ти членов, а вне главного разбирательства из 3-х членов. Председателем и ещё одним членом суда должны быть судьи, а остальные члены суда должны «располагать особым опытом в области борьбы против антигосударственных преступлений». Члены народного суда назначаются рейхсканцлером по предложению имперского министра юстиции на пятилетний срок... Решение народного суда обжалованию не подлежит. Предварительное следствие необязательно, если по мнению прокуратуры в таковом нет надобности. Нет также необходимости в особом решении о сроке главного разбирательства... Выбор защитника нуждается в утверждении со стороны председателя суда».

Стремления пролетариата изменить условия жизни наказуются по «закону» фашизма заключением в каторжную тюрьму сроком от двух лет до пожизненного, а если суд найдёт, что и этого мало—применяется смертная казнь...

... Запугав политически несознательный пролетариат, его хотят двинуть на безумное дело взаимного самоистребления, хотят заставить пролетариев перестрелять друг друга, отравить газами, обратить против самих себя все средства уничтожения людей, созданные руками тех же пролетариев...

... Дело, конечно, не в том, чтобы уговорить зверя вести себя милостиво по отношению к человеку, попавшему в его лапы, а чтоб вырвать лапу из плеча

вместе с головою зверя. Но если мы будем только внушать: не убий! или даже кричать: не смей убивать!—это будет наивным отрицанием права истребления врага...

...Фашисты, практикуя террор, организуют в массах ненависть к нему, ненависть организует массы на неоспоримо справедливую месть врагу. Враг осуждён и погибнет тем скорей, чем более безумна и подла будет его неистовая жажда крови.

«О фашизме» (из неопубликованной статьи).

Фашизм есть порождение буржуазной культуры, находящейся уже в состоянии гниения и распада, её раковая опухоль. Теоретики и практики фашизма—авантюристы, выдвинутые буржуазией из своей среды. В Италии, Германии буржуазия передала политическую, физическую власть в руки фашистов, командуя ими почти с тою же макиавеллистической ловкостью, с какой средневековая буржуазия итальянских городов командовала кондотьерами. Она удовлетворённо наблюдает и поощряет не только гнуснейшее истребление фашистами пролетариев, но позволяет фашистам преследовать и выбрасывать за границы родины литераторов и работников науки, т. е. представителей её же интеллектуальной силы, которой она ещё недавно гордилась и хвасталась.

Удовлетворяя стремление хозяина-империалиста к новому «переделу мира» посредством новой всемирной бойни, фашизм выдвинул теорию права германской расы на власть во всём мире, над всеми расами. Эта давно забытая идея большого Фридриха Ницше о приоритете «белокурой бестии» исходит из факта порабощения рыжими и светловолосыми индусов, индокитайцев, мела- и полинезийцев, негров и т. д.... Эта теория права белой расы на единовластие в мире разрешает каждой национальной группе буржуазии рас-

сма­тривать не толь­ко всех цвет­но­ко­жих лю­дей, но и белых сво­их со­се­дей евро­пей­цев, как вар­варов, под­ле­жа­щих по­ра­бо­ще­нию или уни­что­же­нию. Эта те­о­рия, уже воп­ло­щае­мая в прак­ти­ку ита­льян­ской и япон­ской бур­жуа­зии, яв­ля­ет­ся од­ним из ре­аль­ных фак­тов, ко­то­рые на­пол­ня­ют со­вре­мен­ное по­ня­тие «куль­ту­ра»...

Итак, мы ви­дим, что бур­жуа­зная куль­ту­ра Евро­пы не яв­ля­ет­ся «мо­но­лит­ным це­лым», ка­кой изоб­ра­жа­ли её бур­жуа-ис­то­ри­ки. Её «жи­вая си­ла» рас­па­лась на ла­воч­ни­ков и бан­ки­ров, ко­то­рые, рас­сма­тривая всех ос­таль­ных лю­дей, как дешё­вый и оби­ль­ный то­вар, же­ла­ют во что бы то ни ста­ло со­хра­нить за­ня­тые ими вы­со­кие, со­ци­аль­но уют­ные по­зи­ции; на лю­дей, ко­то­рые за­щи­ща­ют свое пра­во ра­бо­тать для даль­ней­ше­го раз­ви­тия куль­ту­ры; и на фа­ши­стов, ко­то­рые, может быть, то­же ещё лю­ди, но в ре­зуль­та­те дли­тель­но­го, рас­про­стра­нен­но­го на ряд по­ко­ле­ний, пив­но­го опья­не­ния—лю­ди оди­чав­шие и тре­бу­ю­щие стро­гой изо­ля­ции или же ещё бо­лее ре­ши­тель­ной ме­ры пре­се­че­ния их омерзитель­ных кро­ва­вых пре­сту­п­ле­ний.

«О куль­ту­рах».

Год на­зад не­сколь­ко круп­ных немец­ких га­зет на­пе­ча­та­ли ста­тьи, в ко­то­рых крас­но­ре­чи­во убе­жда­ли юно­ше­ство не стре­миться в уни­вер­си­те­ты, ибо об­ра­зо­ван­ных лю­дей в Гер­ма­нии из­ли­шек, де­лать им не­че­го и го­су­дар­ство ка­пи­та­ли­стов счи­та­ет вред­ным уве­ли­чи­вать их ко­ли­че­ство... Фа­шизм... борясь все­ми си­ла­ми про­тив ра­боче­го клас­са, по­дав­ляя вся­кое стре­мле­ние к куль­ту­ре, тем са­мым за­дер­жи­ва­ет раз­ви­тие его ин­тел­лек­ту­аль­ной энер­гии... Ему боль­ше не нужен ин­тел­ли­гент, творец, изоб­ре­та­тель, если он не изоб­ре­та­ет пу­шек и пу­лемё­тов но­вой кон­струк­ции, ядо­ви­тых га­зов и все­го про­че­го, что не­об­хо­ди­мо для бу­ду­щей вой­ны...

«Го­до­ви­щи­на ис­то­ри­че­ско­го по­ста­но­вле­ния».

Смысл социальной философии Ницше весьма прост: истинная цель жизни—создание людей высшего типа, «сверхчеловеков», существенно необходимым условием для этого является рабство; древний, эллинский мир достиг непревзойденной высоты, потому что был основан на институте рабовладельчества; с той поры под влиянием христианского демократизма культурное развитие человечества всё понижалось и понижается, политическое воспитание рабочих масс не может помешать Европе вернуться к варварству, если она, Европа, не возвратится к восстановлению основ культуры древних греков и не отбросит в сторону, «мораль рабов»—проповедь социального равенства. Надобно решиться признать, что люди всегда делились на меньшинство—сильных, которые могут позволить себе всё, и большинство—бессильных, которые существуют затем, чтобы безусловно подчиняться первым.

Эта философия человека, который кончил безумием, была подлинной философией «хозяев» и не являлась оригинальной, основы её были намечены ещё Платоном, на ней построены «Философские драмы» Ренана, она не чужда Мольтцеру; вообще это древнейшая философия, её цель: оправдание власти «хозяев», и они её никогда не забывают. У Ницше она была вызвана—можно думать—ростом германской социал-демократии; в наши дни она—любимый духовный корм фашистов.

«Беседы о ремесле».

Недавно в Берлине был парад «Стальной каски»—«Штальгельма», и председатель этой организации Зельдте, фабрикант ликёров, сказал: «Когда Штальгельм марширует, это означает возрождение германского солдатского духа. Солдатские идеи и солдатские дела вновь нашли себе понимание в Германии»...

Легко представить себе, что такое «солдатские дела»: кровавые ужасы этих «дел» 14—18 гг. ещё не совсем забыты.

Но солдатские идеи несомненно существуют, и в наши дни усиленно пропагандируются в форме фашизма. Это—не новые идеи, истоки их можно проследить в книгах немецких писателей, например, у знаменитого историка Генриха Трейчке, а философско-художественное оформление этих идей дал Фридрих Ницше в его образе «белокурой бестии». Проводником этих идей является Бенито Муссолини. В статье, написанной им для «Итальянской энциклопедии», он пользуется всеми установками душевнобольного Ницше, его проповедью «любви к дальнему», презрительно отрицает идею братства народов и социального равенства человеческих единиц, отрицает, конечно, и права большинства на власть.

Гитлер проповедует, что фашизм «вознесёт народ Германии над всем человечеством»... и нет слов, чтобы выразить, до чего всё это нищенски гнусно, как это бессмысленно и противно. Муссолини находит, что никогда ещё «народы» не жаждали так страстно сильной власти... Ах, если бы можно было перестроиться на феодальный лад! Вот к чему сводятся основные «солдатские идеи» фашизма.

В совершенно обнажённом виде современное настроение буржуазии недавно с наивным цинизмом дикаря высказывал в газете Гитлера «Фолькшер беобахтер» некто Альфред Розенберг по поводу приговора над пятью фашистами, которые замучили и убили коммуниста в Бейтине. Убийство было совершено так садически отвратительно, что даже буржуазный суд приговорил убийц к смерти. Розенберг говорит:

«Приговор обнаружил глубокую бездну между нашим мышлением и либерализмом. Господствующее либеральное право утверждает: человек равен чело-

веку... Пять осуждены на смерть за то, что они убили поляка, который к тому же был большевиком,—приговор суда противоречит элементарному чувству самозащиты нации. Мы ведём наступление на мировоззрение либералов так же, как и на марксистов. Для нас душа не равна душе, человек не равен человеку. Наша цель—сильный германский человек. Только исповедание неравенства даёт Германии политическую свободу».

Под влиянием такого бреда приговор суда над убийцами смягчён и, кажется, намерены совсем отменить приговор. Вот этот бред и есть основное содержание фашизма. Совершенно ясно, что Европой, её трудовым народом, правят люди обезумевшие, что нет преступления, на которое они не были бы способны, нет такого количества крови, которое они побоялись бы пролить. Для того, чтобы дожить до этого бреда, необходимо было «пережить» или «изжить» Гёте и Канта, Шиллера и Фихте и ещё добрую сотню крупнейших мыслителей, поэтов, творцов музыки, живописи.

«О солдатских идеях».

Фашизм—это мобилизация и организация капиталом нездоровых, физически и морально, отслоений истощённого буржуазного общества, мобилизация юных потомков алкоголиков и сифилитиков, мобилизация истерических детей, пострадавших от впечатлений войны 1914—1918 гг.; детей мелкой буржуазии, «мстителей» за поражения и за победы, которые оказались для буржуазии не менее разрушительными, чем поражения. Психика этих подростков характеризуется фактами такого рода: в Германии в первых числах текущего мая в г. Эссене «Гейнц Христен, подросток 14 лет, убил своего приятеля, Фрица Валькенгорста, мальчика 13 лет. Убийца хладнокров-

но рассказал, что вырыл для своего приятеля заранее могилу, бросил его туда живым и держал его лицом в песке до тех пор, пока Валькенгорст не задохся. Убийство он мотивировал тем, что очень хотел овладеть принадлежавшей Валькенгорсту формой гитлеровского ударника».

Кто видел парады фашистов, тот видел, что это— парады рахитичной, золотушной, чахоточной молодёжи, которая хочет жить со всей жадной больными людей, способных принять всё, что даёт им свободу, выявить гнойное кипение их отравленной крови. В тысячах серых, худосочных лиц здоровые, полнокровные лица заметны особенно резко, потому что их мало.

Это, конечно, лица сознательных классовых врагов пролетариата или авантюристов из мелкой буржуазии, вчерашних социал-демократов, мелких лавочников, которые хотят быть крупными и голоса которых вожди германского фашизма покупают тем, что дают лавочникам немножко топлива и картсфеля даром, т. е. за счёт рабочих, крестьян. Обер-кельнерам хочется иметь свой маленький ресторан, мелкие воры хотели бы заняться воровством, указанным властью крупных воров,— вот «кадры» фашизма. Парад фашистов— это одновременно парад и силы и слабости капитала...

Не десятки, а сотни фактов говорят о разрушительном, разлагающем влиянии фашизма на молодёжь Европы. Перечислять факты противно, да и память отказывается загружаться грязью... Укажу, однако, что в стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодёжь, признан социально преступным и наказуемым, а в «культурной стране» великих философов, учёных, музыкантов он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка «уничтожьте гомосексуалистов— фашизм исчезнет». Следует указать на то, что семиты, люди расы, которая могла бы—

если это нужно—похвастаться своей чистотой, люди, которые дали человечеству так много действительно великих мастеров культуры—и величайшего из них, подлинного Мессию пролетариата, Карла Маркса,—эти люди изгоняются фашистской буржуазией Германии...

В то же время в стране, где власть принадлежит рабочему классу, организована самостоятельная республика евреев—Еврейская автономная область...

Маленьким странам снова угрожает опасность оказаться в железных объятиях великих, у них снова хотят отнять право свободного развития их культур.

В массах разноязычного, разноплемённого пролетариата империализм и фашизм сеют злые семена национальной розни, расового пренебрежения и презрения, которые могут перерасти в расовую ненависть и затруднить развитие в мире трудящихся сознания единства его классовых интересов,—спасительное сознание, которое только одно может освободить рабочих и крестьян всего мира из положения беззащитных, бесправных рабов обезумевших лавочников. Их национальная торгово-промышленная вражда легко может перерасти и уже перерастает в проповедь расовой вражды и расовых войн. Сегодня они проповедуют и уже осуществляют на подлой практике антисемитизм, завтра возвратятся к проповеди антиславянизма, вспомнив постыдные мнения о славянах Момзена, Трейчке и других и забыв о том, сколько талантливых людей дали немецкой культуре поляки, поморяне, чехи...

Пролетариат, воспитанный идеологией Маркса—Ленина, реально и мудро осуществляемой вождём его Сталиным, этот пролетариат доказал, что в его пёстроплеменной стране все племена и расы совершенно равны в правах на жизнь, на труд, на развитие своих культур. Безграмотным, не имевшим письменности, полудиким людям русский рабочий ши-

роко открыл путь к знанию. В Союзе Социалистических Советов нет ни одного численно ничтожного племени, которое не доказало бы свою жажду культуры и способность к восприятию её...

Быстрота культурного роста населения Союза Советов признана честными людьми всех стран. Казалось бы, что честные люди, признав этот факт, должны сделать из него соответствующий, очень простой, морально гигиенический вывод: и субъективно и объективно гораздо полезнее, гораздо честнее жить в среде здоровой, чем в среде, смертельно заражённой социальными недугами и осуждённой на гибель. Признав пролетариат способным к социальному творчеству, гораздо полезнее всячески способствовать развитию в нём его жажды знаний, его талантов и сознания в массе пролетариата его исторического назначения, которое он уже начал осуществлять в стране, где живёт 170 миллионов. Казалось бы, что чувство собственного достоинства мастеров культуры, «гуманистов», должно быть глубоко возмущено фактами отрицания культуры лавочниками, их походом против роста всякой техники, кроме военной, назначенной истреблять людей. Но не заметно, чтоб мастера буржуазной культуры возмущались сожжением книг, неугодных фашизму, проповедью человеконенавистничества, заключённого в смыслах национальной и расовой теории, подготовкой к новой яростной войне,—к бессмысленному истреблению миллионов наиболее здоровых людей, к новому истреблению огнём вековых культурных ценностей, к разрушению городов, уничтожению результатов тяжкого труда масс, которые создали фабрики и заводы, обработали поля, построили мосты, дороги. Безумие хищников невозможно излечить красноречием, тигры и гиены не едят пирожное...

Человечество не может погибнуть от того, что некое незначительное его меньшинство творчески

одряхлело и разлагается от страха перед жизнью и от болезненной, неизлечимой жажды наживы. Гибель этого меньшинства—акт величайшей справедливости, и акт этой истории повелевает совершить пролетариату. За этим великим актом начнётся всемирная дружная и братская работа народов мира—работа свободного, прекрасного творчества новой жизни.

«Пролетарский гуманизм»

Основной и главной темой литературы XIX в. являлось пессимистическое сознание личностью непрочности её социального бытия,—Шопенгауэр, Гартман, Леопарди, Штирнер и многие другие философы укрепили это сознание проповедью космической бессмысленности жизни, проповедью, в основе которой коренилось, разумеется, то же самое сознание социальной незащитности, социального одиночества личности. В новой действительности, создаваемой пролетариатом-диктатором Союза Советов, личность, даже затерянная в ледяных пустынях Арктики, живя под ежеминутной угрозой смерти, не чувствует себя одинокой и беспомощной.

XIX век—по преимуществу век проповеди пессимизма. В XX в. эта проповедь выродилась, вполне естественно, в пропаганду социального цинизма, в полное и решительное отрицание «гуманности», которой так ловко щеголяли и даже гордились мещане всех стран... Фашизм Гитлеров—это выявление пессимизма в классовой борьбе мещанства за власть, ускользящую из его ослабевших, но ещё цепких лап.

«Беседа с молодыми».

В XIX веке идеями пессимизма наиболее усердно обслуживали Европу немцы. Не говоря о буддийской философии Шопенгауэра и Гартмана, анархист Макс

Штирнер в книге «Единственный и его собственность» является не кем иным, как глубочайшим пессимистом. То же следует сказать и о Фридрихе Ницше, выразителе буржуазной жажды «сильного человека», — жажды, которая, регрессируя, опустилась от прославленного Фридриха Великого до Бисмарка, до полуумного Вильгельма II, а в наши дни — до явно ненормального Гитлера.

«О литературе».

«Патриоты своего отечества», «защитники родины и национальной культуры», немцы продают своим врагам... снаряды для истребления немецких рабочих и крестьян за половину той цены, которую они сдирают за снаряды, назначенные для защиты своего немецкого «отечества», своей немецкой «культуры»...

Я утверждаю, что детям нужно забавно рассказать о мрачном преступлении Круппа и Тиссена, что в них нужно вызвать органическое презрение и отвращение к преступлению, а не ужас перед ним. Классовая ненависть должна воспитываться именно на органическом отвращении к врагам, как существу низшего типа, а не на возбуждении страха перед силою его цинизма, его жестокости, как это — бессознательно — делала до революции сентиментальная «литература для детей», — литература, которая совершенно не умела пользоваться таким убийственным оружием, как смех.

Я совершенно убеждён, что враг действительно существо низшего типа, что это — дегенерат, вырожденец физически и «морально». В этом вопросе на моей стороне данные статистики роста преступлений, данные психопатологии, сексуальных извращений — бесчисленное количество фактов гнилостного разложения буржуазии «послевоенного» времени.

«О безответственных людях и о детской книге наших дней».

В стране классового, иерархического строя свирепствует фашизм, который, по сути его, является организацией отбора наиболее гнусных мерзавцев и подлецов для порабощения всех остальных людей, для воспитания их домашними животными капиталистов.

В странах классовой структуры власть находится в руках вышеназванных мерзавцев и подлецов, которые озабочены расширением и укреплением наглого и откровенного деспотизма, небывалого по бесчеловечью порабощения трудового народа. Термины «подлецы» и «мерзавцы» я употребляю только потому, что не нахожу более сильных.

Приблизительно 500 лет буржуазия проповедывала гуманизм, говорила и писала о необходимости воспитывать в людях чувства добрые: терпения, кротости, любви к ближнему и т. д. Ныне весь этот мармелад совершенно вышел из употребления, забракован и заменён простейшей формой укрощения строптивых: строптивым рубят головы топором. Это, конечно, наилучшая форма лишения человека способности честно мыслить.

Так называемое «международное право», которое едва ли вообще когда-нибудь существовало, ныне совершенно уничтожено. Итальянский фашизм устанавливает рекорды бесчеловечья, разрушая бомбами лазареты Красного Креста, добивая раненых, уничтожая медицинский персонал, отравляя мирное население газами, отравляя ядом скот, землю, воду, растительность. Фашизм немецкий усердно готовится к такой же радикальной деятельности... О необходимости полного уничтожения некоторых рас и племён ещё не говорят, но кое-что по этой линии безумия уже начали делать...

Надобно так же серьёзно подумать о необходимости создания «оборонной» литературы, ибо фашизм усерд-

но точит зубы и когти против нас, и поголовное истребление абиссинцев фашистами Италии немецкие фашисты, конечно, оценивают, как «пробу меча», который они, как известно, предполагают употребить именно для истребления пролетариев и колхозников Союза Советов.

«О формализме».

Да, животное начало в человеке неугасимо до поры, пока в буржуазном обществе существует огромное количество влияний, разжигающих зверя в человеке.

Домашняя кошка играет пойманной мышью, потому что этого требуют мускулы зверя, охотника за мелкими, быстрыми зверьми, эта игра—тренировка тела! Фашист, сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову его с позвонков,—это уже не зверь, а что-то несравнимо хуже зверя, это—безумное животное, подлежащее уничтожению.

Доклад на I Всесоюзном съезде советских писателей.

В. В. МАЯКОВСКИЙ

(1893 — 1930)

Германия!
Мысли,
музеи,
книги,
каньте в развёрстые жерла.
Зевы зарев, оскальтесь нагло!
Бурши,
Скачите верхом на Канте!
Нож в зубы!
Шашки наголо!

«Война и мир».

Сейчас две мысли: «Россия—Война» это лучшее из всего, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мысли дали мы. Да! И много лет назад:

Читайте!

«Славяне! В эти дни Любек и Данциг смотрят на нас молчаливыми испытателями—города с немецким населением и русским, славянским именем... Ваши обиды велики, но их достаточно, чтобы напоить полк коней мести—приведём же их и с Дона и Днепра, с Волги и Вислы. В этой силе, когда Чёрная гора и Белград, дав обет побратимства, с безумством обладающих жребием победителей, по воле богов готовые противопоставить свою волю воле несравненно сильнейшего врага, говорят, что дух эллинов в борьбе с мидянами воскрес в современном славянстве, когда в близком будущем воскреснут перед изумлёнными взорами и Дарий Гистасп и Фермопильское ущелье и царь Леонид с его тремястами. Или мы не поймём происходящего, как возгорающейся борьбы между всем германством и всем славянством? Уста наши полны мести, месть капает с удиц коней, понесём же как красный товар свой празник мести туда, где на него есть спрос,—на берега Шпрее. Русские кони умеют попирать копытами улицы Берлина. Мы это не забыли, мы не разучились быть русскими. В списках русских подданных значится канигбургский обыватель Эммануил Кант. Война за единство славян, откуда бы она ни шла, из Познани или из Боснии, приветствую тебя! Гряди! Гряди дивный хоровод с девой Словией, как предводительницей горы. Священная и необходимая, грядущая и близкая война за поправленные права славян, приветствую тебя! Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам!»

Что это? Портрет России, написанный вчера вечером человеком, уже надышавшимся местью и войной? Нет, это озарение провидца художника Велимира

Хлебникова. Предсказание, сделанное шесть лет назад. Воззвание к слагьянам-студентам, вывешенное в Петроградском университете в 1908 году.

Дружина поэтов, имеющая такого воина, уже в праве требовать первенства в царстве песни.

Понятно, отчего короли слова первые раскрыли сердце алым семенам войны.

Россия борется за то, чтобы не стать хлебным мешком Запада. Если до сегодняшнего дня Германия не сделала попыток обрубить рост России, то только потому, что видела в нас спеющую колонию, которая, налившись, сама упадёт в её зубастую пушками пасть.

Если же на мощную Россию-государство и то смотрели, как на колонию Европы, то Россию-искусство вовсе считали какой-то безнадежной Калугой. Дирижеры вкуса—столицы Берлин, Париж, Лондон...

«Россия. Искусство. Мы».

Два месяца плакали газеты о новых и новых ранах, наносимых телу красоты.

Поломана последняя тонкая рука, вознесённая к небу Реймским собором, жирные, налитые пивом пальцы прусских улан украшены кольцами хранилищ Лувена, и сдобные булочки юбки брюссельских кружев треплют по улицам Берлина...

Не знаю, плакала ли бедная красота; не слышно слабого дамского голоса за убедительными нотами Крупновского баса.

А на могильном камне—уверенно округлённая немецким писателем фраза: «самый маленький холмик, защищающий тело немецкого солдата, дороже всех сокровищ искусства...»

«Штатская шрапнель».

Мы накануне.

Ещё месяц, год, два ли, но верю: немцы будут растерянно глядеть, как русские флаги полощутся на небе в Берлине...

Довольные вернутся работники к земле и фабрикам, спокойно помня, что в Эссенской губернии когда-то страшный Крупп миролюбиво и полезно выделяет самовары.

Но кто из пепла снова вознесёт города, кто опять заполнит радостью выгоревшую душу мира, кто этот новый человек?

История на месте длиной от Кронштадта до Баязета кровавыми буквами выписала матери-России метрическое свидетельство о рождении нового человека...

За ним!

Не бойтесь! Этот новый человек не таинственный иог, за которым надо гоняться по опасной Индии; это не одинокий отшельник, для новизны бегущий в пустыню.

Он здесь же, в толкучей Москве!

Он—извозчик, пьющий на Кудрине чай в трактире «Бельгия», он—кухарка Настя, бегущая утром за газетой, вдохновенный поэт, пишущий стихи только для себя, потому что сегодня каждая мелочь его работы, даже та, которая кажется только лично полезной, на самом деле часть национального труда, а русская нация—та единственная, которая, перебив занесённый кулак, может заставить долго улыбаться лицо мира...

Каждый носитель грядущего. Судьбу России решает войско, а ведь войско—мы все: кто уже сражается, кто идёт на смену павшим, с малиновыми ополченскими знаменами, кто завтра, достигнув предельного года, призовётся в свой черёд. А солдат теперь не мясо. Военная теория последних дней вычеркнула движение громадных колонн, заменив стадное подчинение свободной инициативой миллиардов от-

дельных. Каждый должен думать, что он—тот последний, решающий исход борьбы. День осознания в себе правовой личности—день рождения нового человека...

История в последней войне ввела новую силу—*сознательную* жизнь толп. Явления приобретают необычайный масштаб. Если один человек еле выносит удар кулака, то он среди тысяч таких же вынесет сокрушающие молоты громаднейших гор. Мозг, расширившись, как глаза у испуганного зверя, причаетса воспринимать раньше невыносимую катастрофичность.

Сознание, что каждая душа открыта великому, создаёт в нас силу, гордость, самолюбие, чувство ответственности за каждый шаг, сознание, что каждая жизнь вливается равноценной кровью в общие жилы толп,—чувство солидарности, чувство бесконечного увеличения своей силы силами одинаковых других.

Всё это вместе создает нового человека: бесконечно радостного оптимиста, непоборимо здорового!

Теперь вы понимаете, почему сегодня утром почтальон, принесший открытку, так гордо держал голову?

Вчера вернулся с войны один мой товарищ—санитар. Маленький, но бесконечно любящий красоту артист. Кажется, единственное, что он умел, тонкими пальцами щёлкать, как кастаньетами. У нас на вечеринке я попросил его выщелкать какой-то мотив. Начал и замялся. Я осмотрел его пальцы. Изуродованы. «Осколки шрапнели,—объяснил он,—когда вынимаешь у раненого, торопишься, и царапает». Он говорил, как стлались снаряды, как ему, упавшему от трёхдневных бессонных перевязок, принесли кружку кровавой воды из Вислы... Я удивился. Ведь это не его профессия; ведь даже убить могут. Возмутился: нет, не могут. Когда полк идёт в атаку, в общем мощном «ура» ведь не различишь, чей голос принадлежит Ивану,—так и в массе летящих смертей не различишь, какая моя и какая чужая. Смерть несётся

на всю толпу, но, бессильная, поражает только незначительную её часть. Ведь наше общее тело остаётся там на войне дышать за одно, и поэтому там—бессмертие.

...Старые писатели—Сологуб, Андреев и др.—возвеличивали смерть, возвеличили страдание, кончину, а великая, но до сегодняшнего дня непринятая народная песня поёт радость. В то время как писатель печален—«идём на смерть», народ в радости—«идём на ратный подвиг».

Изменилась человечья основа России. Родились мощные люди будущего...

...Перед этим, сегодня начавшимся новым человеком благоговейно снимаю шляпу.

«Будетляне».

В Германии,
куда ни кинешься,
выжужживается
имя
Стиннеса.
Разумеется,
не режу
его обрезать,
недостаточно
ни букв
ни линий ему.
Со Стиннеса
надо
писать образа,
Минимум.
Все—
и ряды городов
и сёл—
перед Стиннесом
падают
ниц.

Стиннес—
 вроде
 солнец.
Даже солнце тусклей
 пялит
 наземь
оба глаза
 и золотозубый рот.
Солнце
 шляется
 по земным грязям.
Стиннес—
 наоборот.
К нему
 с земли поднимаются лучики—
прибыли—
 ренты
 и прочие получки.
Под ногами его
 враг
 разит врага.
Мёртвые
 падают—
 рота на роте.
А у Стиннеса—
 в Германии
 одна
 нога,
а другая—
 напротив.
На Стиннесе
 всё держится:
сила!
Это
 даже не громовержец—
 громоверзила.

В славном лесе Августовом
Битых немцев тысяч сто вам.

Враг изрублен, а затем он
Пущен плавать в синий Неман.



Выезжал казак за Прут,
Видит, немцы прут да прут.

Только в битве при Сокале
Немцы в Серет ускакали.



Подошел колбасник к Лодзи,
Мы сказали: «Пан добродзи!»

Ну, а с Лодзью рядом Радом,
И уцел с подбитым задом.



Масса немцев, пеших, конных,
Едут с пушками в вагонах.
Да казаки на опушке
Поскидали немцам пушки.



И под лих казацкий гомон
Вражий поезд был изломан.



Глядь-поглядь, уж близко Висла;
Немцев пучит—значит, кисло.



Жгут дома, напёрли копотъ.
А самим-то неча лопать.

Выезжали мы от Ковно,
Уж от немцев поле ровно.

☆

Пруссаков у нас и бабы
Истреблять куда не слабы!

☆

Шел австриец в Радзивилы,
Да попал на бабы вилы.

☆

Ах ты, милый город Люблин,
Под тобой был враг изрублен!

☆

Сдал австриец русским Львов,
Где им, зайцам, против львов?

Да за дали, да за Краков
Пятить будут стадо раков.

☆

Живо заняли мы Галич,
Чтобы пузом на врага лечь.

☆

Как заехали за Лык
Видим немцы—прыг да прыг!

☆

Ну и треск, да ну и гром же
Был от немцев подле Ломжи!

☆

Эх ты, немец, при да при же,
Не допрёшь, чтоб сесть в Париже.

И уж, братец—клином клин:
Ты в Париж, а мы в Берлин!

☆

У Парижа на краю
Лупят армию мою,
А я кругом бегаю,
Ничего не сделаю.

☆

Немец рыжий и шершавый
Разлетелся над Варшавой.

Да казак Данило Дикой
Продырявил его пикой.

И ему жена Полина
Шьёт штаны из цепелина.

☆

Опустилось у Вильгельма
Штыковое рыжеусие,
Как узнал лукавый шельма
О боях в Восточной Пруссии.

Подписи к народным лубкам

Когда
 перед тобою
 встают фашисты,
обезоруженным
 не окажись ты.

«Наглядное пособие»

Во всех
 уголках
 земного шара
рабочий лозунг
 будь таков:
разговаривай
 с фашистами
 языком пожаров,
словами пуль,
 остротами штыков.

«Наглядное пособие».

С О Д Е Р Ж А Н И Е

От редакции	3
М. В. Ломоносов	5
И. Т. Посошков	6
А. Т. Болотов	6
Д. И. Фонвизин	7
А. С. Пушкин	7
М. Ю. Лермонтов	7
Н. В. Гоголь	8
В. Г. Белинский	9
А. И. Герцен	10
И. С. Тургенев	18
Ф. И. Тютчев	25
Я. П. Полонский	27
Н. Г. Чернышевский	27
Д. И. Писарев	29
Н. А. Некрасов	33
М. Е. Салтыков-Щедрин	37
В. С. Курочкин	47
В. И. Богданов	48
Н. К. Михайловский	49
Г. И. Успенский	49
В. Г. Короленко	52
Ф. М. Достоевский	56
Л. Н. Толстой	63
А. П. Чехов	64
В. Я. Брюсов	65
А. М. Горький	69
В. В. Маяковский	91

Подписано к печати 15 мая 1943 г. А 443. 3,25 печ. л. 4,61
уч.-авт. л. Тираж 10 001 — 60.000 экз. Цена 3 руб. Зак. 1487.

3-я тип. «Красный пролетарий» Огиза РСФСР треста «Поли-
графкнига». Москва, Краснопролетарская, 16.

3 руб.